

Б И Б Л И О Т Е К А

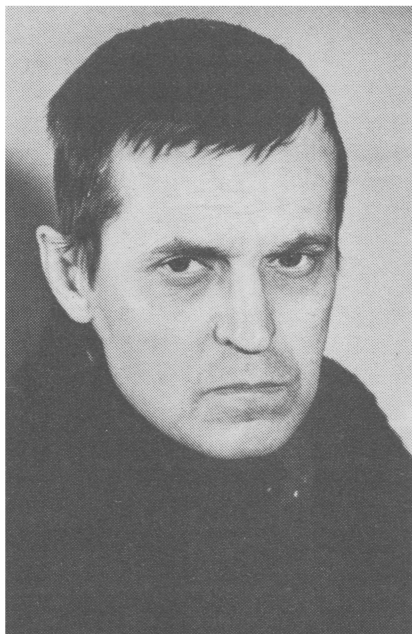
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 51

1988



Борис ЧЕРНЫХ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 51

Борис ЧЕРНЫХ

ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Борис ЧЕРНЫХ

Борис Иванович Черных родился в 1937 году в городе Свободном Амурской области. Окончил юридический факультет Иркутского университета. Работал в газетах, учительствовал. Печататься начал еще студентом в университетской газете и в молодежной газете Иркутска. Был на комсомольской работе. Как очеркист публиковался в коллективных сборниках. С рассказами выступал в «Юности», «Литературной России», «Неделе», «Огоньке» и других изданиях. Борис Черных живет в Иркутске.

ОСТРОВ ДЯТЛИНКА

Федя Гладковский, толстый неуклюжий мальчик одной из сваринских школ, сильно страдал. Иные не умели решать быстро задачки или высоко прыгать у волейбольной сетки — Федя не умел ходить в строю.

— Ты что, новорожденный, что ли? — с досадой сказал ему однажды физрук. — Из строя вечно выпадаешь.

С тех пор к Феде пристала кличка Новорожденный, и жить стало совсем невмоготу.

Он уходил на берег Умары, бродил по колхозному рынку, а последней школьной весной, когда надо было готовиться к выпускным экзаменам, полюбил остров Дятлинку, его раннюю зелень и пацанов с удочками на пологом берегу. Федя научился курить и пытался покровительствовать маленьким рыбакам.

Никто не прогонял Федю с острова, никто не кричал на него, никто не мешал ему видеть жизнь на материковом берегу особо, издалека: острова в отрочестве и юности будто вооружают нас подозрительной трубой, и люди, отодвинутые оптическими стеклами, становятся спокойными и неопасными.

На острове он познакомился с Женей Осипенко, она училась классом ниже.

Они подружились. До последних дней июля он провожал ее за Умару, домой, к родителям. Летом они валялись на горячем песке, остров Дятлинка был забит горожанами, но Федя и Женя не обращали на них внимания. В июле же он объявил ей, что решил поступать в общеобразовательное училище. Пусть ни единая душа пока не знает об этом, но он докажет себе, маме и ей, Жене, что он мужчина.

— Мне ничего не доказывай, — сказала она, — на каникулах приходишь, и я сама скажу тебе все, что ты думаешь тайно про нас...

Федор уехал в Новосибирск, выдержал жестокий конкурс — никогда не подозревал он, что столько юношей любят военную профессию, — и отбил две телеграммы, матери и Жене Осипенко, обе подписал: «Курсант Гладковский».

Он едва дождался зимних каникул, ринулся — самолетом — домой, и они снова ходили по острову, теперь пустынному, белому: он грел ее

руки под отворотом шинели. Женя призналась, что любит его, его неуклюжую походку («Ох, и достается мне за нее в училище!» — сказал он), лицо его, быстро теряющее мальчишеские черты, и хочет стать его женой — после, после. Она будет ждать его или придет тоже в Новосибирск.

«И в молодые наши лета даем поспешные обеты...»

Летом, не дождавшись Федора, Женя уехала в Хабаровск, поступила в педагогический, а весной — мокрый снег падал на мостовые, бежали ручьи — он получил от Жени последнее письмо: «Милый, не терзай себя. Я стала женщиной. Прощай, милый...» — странное письмо, жестокое и трогательное.

Смертельная тоска сдавила ему виски, Федор спрятался в туалете и плакал.

Скоро он стал молчалив и сосредоточен, шел одним из первых по всем предметам, только строевая подготовка мучила его, офицеры-наставники любили Федора за ясную голову, и курсантам он тоже пришелся по нраву. Уже на выходе, почти лейтенантом, Федор встретил в театре — о, эти нелепые курсантские выходы в ТюЗ! — Нину Журавлеву, влюбился; и когда разрядка пришла в Забайкальский военный округ, Гладковский весть эту воспринял радостно — почти родные места. И Нина как-то легко и бездумно — и это-то больше всего обрадовало Гладковского (без расчета всякого, значит!) — согласилась ехать с ним.

И вот прошло семь лет и сменялось.

Не однажды провожал он ребят, выслуживших срок, по домам, записывал адреса аккуратно, но писем не писал — некогда, а от них получал весточки. Некоторые просились в роту обратно, на сверхсрочную.

С последним призывом Гладковскому, однако, не повезло. Попали в роту четыре парня, способные и дерзкие до невозможности.

Гладковский тихонь не любил, но в армии должна соблюдаться мера всему. Вот этого-то лихая четверка понять не могла. Следовало отдать их в «учебку», вышли бы сержанты — не дураки.

Но жалко было таких молодцов отпускать на сторону.

И Гладковский решил с ними заняться сам и под вечер вызвал их к себе.

Они вошли в канцелярию, заполнив ее крепко сбитыми телами. Лица их излучали ясность и здоровье.

— Почему, соколки, родителям не пишете? — спросил он — знал, что почта приходит к ним редко.

— Разрешите мне? — бойко ответил солдат Мяличкин, глядя капитану в глаза.

— Попробуй, — добродушно согласился Гладковский.

— Курьезное это дело — писать! — выпалил Мяличкин. — Требуется дополнительного сосредоточения телесных и душевных сил.

— Разрешите, дополню? — сказал солдат, фамилия которого была

Пасканов. — Главное в нашей жизни — быть готовыми к отражению неприятеля, над чем...

— Встать! — тихо приказал Gladковский, и они, не суетясь, встали. — Кругом! Подкорытов головной, остальные по порядку на выход — марш!..

«Арш! Арш!» — отозвалось в затылке Gladковского.

Солдаты построились в колонну и пошли к казарме. Вел их тот, что молчком отсидел и имени которого Gladковский не помнил. Он услышал:

— Дальневосточная!

Опора прочная!..

За ужином Gladковского прорвало. Он близко увидел жену — тоненькая Нина Журавлева, где ты? Нет тебя! — и эти совершенно низменные движения вилкой, эта увлеченность едой...

— Вот живем и не живем... — заговорил он. — А я ведь никогда не могу тебе что-нибудь рассказать, боюсь быть понятым не так. И ты это прекрасно знаешь, прекрасно. Мы с тобой как сослуживцы, которые давно надоели друг другу.

Жена молчала. Хотя он еще не сказал всего, она уже молила его не продолжать. Она погладила Кольку по грустной головке и вышла.

Gladковский подошел к окну, раздвинул куст герани, увидел Нину под унылым фонарем полной луны и в окружении неоперившихся тополе; но с удивлением Gladковский открыл, что видит пейзаж и жену за окном как нечто далекое и холодное, постороннее; это напугало его. Неужели так из века? Любишь женщину, едешь с ней за тридевять земель, а там вдруг усталость одолевает тебя — хочется лечь и уснуть.

Он так и сделал — прилег на диван и задремал.

Утром, прощаясь, он потерял о плечо жены, словно просил прощения, и новые заботы поглотили его. Gladковский попросил Штырева принести учетные карточки на четверых солдат. Командир взвода Штырев — к нему попали удалцы — разложил личные дела на столе. Gladковский, принимая папку, улыбнулся. Таким же розовым лейтенантом семь лет назад он приехал сюда.

Он просмотрел учетные карточки — парни как парни. Все из семей технической интеллигенции, выросли в достатке, в больших городах. Трое недолго учились в институте, но потом оставили студенческую скамью. А один — с красивой фамилией Левада — не захотел вообще поступать в институт, хотя школу окончил почти на круглые пятерки.

И он, Gladковский, должен учить их нынче уму-разуму. Нашли профессора!

— Вели каждому дать по два наряда вне очереди, — приказал он Штыреву. — Для начала пускай на кухне котлы с консервации снимут.

Потянулся день — будничный, размеренный, привычный. Gladковский выезжал на стрельбище, слушал команды на плацу перед обедом,

комбату твердо обещал к маю выставить концерт — плясуны и соловьи ротные были собраны у того же Штырева.

Стоя перед комбатом, Гладковский вспомнил своих штрафников, хотел поделиться горем, но гордыня не позволила, терпел, промолчал.

По пути к дому зашел Гладковский на кухню — в солдатской столовой была гулкая тишина, за дощатой перегородкой слышался говор «штрафников», — и он притормозил, невольно вникая в разговор.

— А в хате у него, говорят, есть каптерка и гауптвахта — для семьи, — нагловаато говорил сильный голос.

— Ага, и песни строевые любит — «А для тебя, родная...»

Хором они подтянули:

— ...есть почта полевая... прощай, труба зовет... тру-ту-ту-ту...

«Стервецы, раскусили ротного», — с грустью подумал Гладковский и крикнул:

— Где тут эти бездельники? — И, громко стуча подковками, вошел в предбанник — так называлось подсобное помещение столовой.

Солдаты сконфуженно приветствовали капитана. Он оглядел их. Они стояли без головных уборов и в рабочих куртках. Снова ему понравились открытые юные лица, излучавшие здоровье.

— Обедали, хлопцы? — спросил Гладковский. — Обедали, Подкорытов?

— Так точно, товарищ капитан, обедали, но уже проголодались. Ударная работа изнурила организм.

Гладковский кликнул дежурного по кухне и попросил накормить четверых еще раз.

— Так нема чем кормиты! Усе поелы. — Дежурный оказался украинцем.

— Побачьте, пошукайте, — в тон ему ответил Гладковский. — Они, — он показал на солдат, — выполняют особое задание. Мотоциклисты...

— Исть пошукаты! — выкрикнул дежурный.

Гладковский удалился и, пока уходил, слышал тишину за спиной.

Отобедав в чопорном домашнем уюте — Нина все еще переживала размолвку, — Гладковский снова побрел на службу.

Апрельское солнце прожигало насквозь, и тонули в мареве голые сопки. Полуденная тишина легла по всему Забайкалью, и к Гладковскому неприкаянно пробилось воспоминание, будто из-за кургана выплыл остров Дятлинка, и дальше, отроческое разногололье вдруг застило слух.

Слушая забытые голоса, Гладковский велел Штыреву вернуть студентов в казарму.

Штырев с сомнением покачал головой: решение Гладковского показалось ему не то чтобы невоенным, а диковинным, и он решил вечером выведать у ротного причину такого настроения и заодно отпроситься

в Читу — в Чите жила возлюбленная лейтенанта Штырева, через день он писал ей страстные письма.

Но вечером Gladковский ушел в казарму. В ленкомнате Федор нашел Пасканова и Мяличкина. Они сидели с отстраненными лицами, читали книги в крепком переплете. Неохотно встали, приветствуя капитана.

— Позвольте полюбопытствовать, — Gladковский прямо из рук взял книгу и полистал.

— В вечер такой, золотистый и ясный, в этом дыхании весны всеобщей не поминай мне, о друг мой прекрасный, ты о любви нашей... — прочитал Gladковский. Отдал книгу Пасканову и немо стоял, но вспомнил, зачем он пришел. Он пришел увидеть Дементьева.

— Я ищу Дементьева. Дневальный! Пригласите сюда Дементьева!

Gladковский любил Дементьева, как одноклассника, особенной любовью и по Дементьеву поверял себя, свое бывшее и настоящее.

Напросившись на второй срок, Дементьев удивил Gladковского.

Бывали и сейчас взлеты у него. Недавно вел Gladковский роту со стрельб, усталость сковала солдат — шли вразброд, растянулись по степи. Взводные несли фуражки в руках, пыль оседала за колонной.

Войти в гарнизон и вот так, молча, разбредиться у казарм — нет, это было бы свыше сил Gladковского. И раздался насмешливый, совсем не вечерний, вскрик:

— Запевала, песню!

Запевала молчал.

Настигая головной взвод, Gladковский метался в поисках решения. Взводные обещали запевале жестокие кары. Запевала молчал. Но тут безголосый, хрипловатый басок Васи Дементьева заговорил речитативом:

Как родная меня мать
Провожала...

И тотчас, обгоняя Василия, отозвался чистый, как латунь, голос запевалы. Рота подтянулась, взводные надели фуражки. Чекая шаг, вступила рота в гарнизон...

Явившись сейчас на зов капитана, Дементьев тихо признался:

— Мамазя хворает, домой зовет. Да и пора. А то ей молока никто не принесет, мамане...

— Летом отпущу, — пообещал Gladковский, — но, чур, в отпуск с Ниной приеду к тебе. Всю жизнь мечтал Владивосток посмотреть.

Разномастные глаза Дементьева вспыхнули, как перламутр:

— Ох, порыбалим, товарищ капитан, покупаемся! За виноградом в тайгу сходим!

— Сходим... Ты город больше любишь или Седанку свою?

— Город-то что — теперь все города похожи друг на друга.

— Не-е, не согласен,— Гладковский прикрыл глаза и качнулся в полузабытии, припомнив мираж после полудня...

— Так и Владивосток! — вскричал Дементьев. — На Голубинке классом сойдемся — простору-то! Неба-то! Свободы!

— А вы, Пасканов, что любите, жалеете? — неожиданно обратился Гладковский к Пасканову.

— Я... я люблю атомный реактор, — с улыбкой отвечал Пасканов.

— А вы, Мяличкин?

— Мы с Подкорытовым работали недолго на автозаводе. Мы уважаем поточную линию, без эмоций, — ответил Мяличкин.

— А песню «Дальневосточная, опора прочная» откуда знаете?

— К концерту готовимся. По приказанию лейтенанта Штырева.

— Не нравится песня-то?

— Архаичная, — сказал Пасканов.

— Я давно хотел спросить, товарищ капитан... Вы ведь пушки любите, семидесятишестимиллиметровые?

Все рассмеялись: вопрос был необычный.

— А миномет любите? Вы же военный... — спрашивал Дементьев.

— Военный, верно, — задумчиво признался Гладковский и посмотрел на Дементьева. «Вот за что я тебя и люблю, Василий, — думал он, — я же знаю, о чем ты спрашиваешь меня, и ты знаешь тоже».

Вслух же произнес:

— В вечер такой, золотистый и ясный, Пасканов любит атомный реактор, а Мяличкин с Подкорытовым — поточную линию. Законная любовь. Не сужу ее... А Дементьев любит Седанку и Голубинку.

— А вы-то, вы? — деликатно напомнил Дементьев, помогая капитану.

Гладковский молчал. Зная, как надо ответить сержанту, чтобы не раздосадовать его, Гладковский внезапно понял, что нельзя на миру признаться в своей любви, и он в смущении посмотрел на солдат.

— В Бурятии живет лама, он отрекся от Будды, ему платят пенсию. Я видел его. Несчастный старик, — вот что сумел сказать Гладковский и пробрался к выходу.

На улице он долго стоял недвижно, воспоминания об отлетевшей молодости, всегда нехстати и больно покалывающие сердце, никак не отходили, не исчезали.

Гладковский, запинаясь, бродил в потемках по плацу и опомнился, когда в упор увидел лейтенанта Штырева.

— Костя, нет ли у тебя? Захотелось вдруг. Разумеешь?

— Понимаю, — отвечал Штырев. — Найдём. Очень хорошо понимаю вас, товарищ капитан.

Они выпили; Штырев, попыхивая сигаретой, ожидал исповеди командира, не вытерпел, заговорил сам:

— В Чите, товарищ капитан, девушка стареет. А и на часок не сбегашь, и суток мало — далеко живет.

— Так позови ее сюда.

— Не поедет, — убежденно сказал Штырев. — Это у вас Нина Николаевна — декабристка. А среди нынешних девчат повывелись подвижницы.

— У меня какое-то безнадежное чувство, когда я вижу тебя, — сказал Gladковский.

— То есть? — Лейтенант казался растерянным.

— Давай лучше ты споешь, — взмолился Gladковский. — А говорить не будем.

— В одиночку петь — песню портить. Вот ежели взводом — тут огонь до печени жжет. Как тогда Дементьев-то, а?! У, музыка!

Gladковский затосковал. Пора идти домой, но, на беду свою, домой он идти не хотел.

— Я спою, раз публика просит. — Штырев кашлянул. Потом не пропел — изрек: — «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлекся тобой». Мотив мой, слова народные. Пойдет?

Пока он одиноко пел, на огонек вошли еще офицеры, приятели Штырева, одногодки-холостяки. Мигом сложилась компания, отыскались зановенные карты. Стали играть в подкидного, потому что в преферанс Gladковский отказался играть наотрез.

Штырев кричал:

— Мать честная! Да я и не гадал, что отыщу вас в степном захолустье! — И обнимал Завьялова и Сухорукова, становился сентиментальным.

Завьялов мотал белобрысой головой:

— Отошла пора, отпели, братцы, наши трубы. Скоро нас в холодный резерв. Видели? Кладбище паровозов целехоньких в тупике, под Читой.

— Юрка, да ты и на гражданке не пропадешь! — не сдавался Штырев.

— У меня отец и дядя — полковники, а дед — комдив, упекли в тридцать седьмом.

— А, наследственная кость! Презираешь нас, поди? — вымолвил Сухоруков.

Gladковскому нравился и лейтенант Сухоруков, хотя он не знал, чем.

— А Федор Григорьевич загрустил, — сказал виновато Штырев и вкрадчиво обронил давно отрепетированную строку: «Я встретил вас, и все былое...»

Глядя выпуклыми глазами на мир, одногодки-холостяки подтянули Штыреву; Штырев красивел на глазах, у Завьялова в руках появилась гитара.

— В одиночку петь — песню портить! — воскликнул Штырев, вытирая полотенцем пот со лба.

«Сейчас я уйду на улицу,— думал Гладковский,— постучусь домой и скажу: знаешь ли, Нина, что лучшие наши годы минули? Да, они минули... А жить надо и дальше. Только вот как жить на пепелище?..»

Но шли дни, дома Гладковский молчал, старательно исполняя роль семьянина: выбивал половики, ходил с сыном в военоторговый ларек, иногда и вовсе шустрил, не узнавая себя, успевал обед приготовить.

По вечерам Гладковский пристрастился заходить к Штыреву, они говорили об армии, впрочем, говорил, все больше распусая себя, лейтенант, а Гладковский поддакивал изредка и не в лад.

Уехал на родину Дементьев, теперь уже навсегда, невозвратно.

Песчаные бури улеглись на ущербе лета, солнце пригревало непрочно, но ласково и мягко. Подкрался сентябрь.

Гладковский получил отпуск, но во Владивосток не поехал, повез жену и сына в Айканов, к Нининой родне. Едва добрались до Айканова и облобызались с тещей (тещу Федор не любил за светскость и манерничанье), он отозвал в сторону Нину:

— Не теряй меня...

И ушел на вокзал.

А в Сваринске, повиснув на поручне раньше срока, спрыгнул на перрон. Сизый рассвет пластался над городом.

Федор пробежал из конца в конец по Амурской, это была его родная улица, когда-то долгая и все еще с деревянными тротуарами — под ногой доски прогибались. В утренних сумерках Гладковский пришел к пятой школе. Раньше школа казалась ему громадной, необъятной, в утробе ее вываривалось то зыбкое, призрачное товарищество, которое быстро потерялось в огромной стране; через десять лет, может быть, один Гладковский и помнил всех по именам.

Притаившись на скамье у калитки, Гладковский дождался начала уроков. Федор заметил, как вышел из-за угла физрук, скользнул взглядом по Гладковскому и не узнал его. Федора это больно задело, но следом он увидел Сильву, историчку. Сильва шла, близоруко щуря глаза (очки Сильва не носила, считая, что они старят ее, сорокалетнюю женщину).

— Сильва Васильевна,— позвал Гладковский.

— Да, я слушаю вас,— чуть надменно сказала Сильва.— Вы, верно, папа Толи Никитина? Я довольна Анатолием, он усидчив...

Федор был ни жив, ни мертв. Оказывается, в этом утреннем городе уже никто не ждал его, не называл никто по имени — «Федя, мальчик мой».

Никто не догонял его.

До обеда Федор пробыл на реке. Другие мальчики — прибранные и ухоженные — стояли с удочками на берегах обмелевшей Умары; другие девчонки, протягивая цыплячьи руки, звали их в выжигательный круг. Какая давняя игра!..

Вернувшись в часть, Гладковский был все так же подтянут и строг. Полковое начальство, завидя его издали, приосанивалось и, когда он подходил, любовно хлопало его по сильному плечу.

Но... бывое есть и пребудет вовеки.

1978

ГИБЕЛЬ ТИТАНИКА

— Серенька! Мальчик Серенька, выгляни в оконце. Папа подарок тебе привез.

Серенька встает на тряпичный коврик, приподнимает марлевою занавеску и видит приплюснутый к оконному стеклу нос отца. Отец смотрит на Сереньку молча. Лицо его расплывается в улыбке:

— Смотри, сын, из лесу принес.

— Вишь, — говорит отец, — готовым деревом посадил. Ухаживай. Береза ласку любит.

Вечером отца повезли на запад с немцем сражаться. Он был грустен, но держался бодро. Он гладил по плечу Серенькину мать. Когда вокзальные склянки пропели отправление, он притиснул Сереньку к груди. Громогласный старшина объявил посадку законченной, двери теплушек заперли. Отец попытался пробиться к оконцу, но сумел вынуть только руку. Серенька узнал его руку. Состав дернулся и повез руку отца.

А взрослая береза осталась. По березе Серенька представляет отца и разговаривает с ним.

— Земля у нас больно худая, один песок. Не приживется дерево, папка.

И отец — то есть береза — отвечает:

— Не бойсь, укоренимся, выживем.

Перед сном, в летние дни, Серенька берет легкие цинковые ведра и бежит к железной дороге. Там, на запасных путях, пропахших мазутом, стоит цистерна с водой. Серенька несет домой полные ведра, капли не уронит. Праб был отец: береза потеряла листву на нижних ветках, потом окрепла в гнезде, достав крышу, пошла вширь и к осени на второй год стала похожа на осанистую тетю Марфу, так звали жену Титаника.

Титаник появился во дворе, когда судьба березы уже не вызвала опасений у Сереньки, хотя он продолжал ухаживать за деревом.

И вот появился Титаник. Титаник — это кличка, а не имя. У человека должно быть имя, а у Титаника имени не было. Титаник походил на пароход. Человек вообще-то не может походить на пароход, но Титаник был вылитый трехпалубный океанский лайнер. Ему потому и кличку-то дали ненормальную, зато как припечатали — Титаник.

В Урийске вообще мода такая — всем клички давать. На Чесноковской живет Кеха-американец. Кеха всем врет, что родом он из Америки, хотя старожилы знают: Кеха как родился на Чесноковской, так всю свою непутевую жизнь и прожил там. Есть в Урийске Илюха-холодный и Илюха-горячий, близнецы, коренастые забияки, причем драки всегда начинается Илюха-холодный. Крикнет во всю мочь:

— Братка, не могу терпеть больше! — И бьет обидчика коленом под дых, в живот норовит угодить.

А в соседнем с Серенькой доме живет Маруся Безотказная. Раньше Серенька думал, что такая у Маруси фамилия, а позже понял — кличка это у нее, невеселая и точная.

Ну, а Титанику — Титаниково.

Немтырь Игнат, он тоже живет на Серенькином дворе, умеет при закате играть на гитаре, коронный номер Игната — вальс «Гибель Титаника». Мелодия простенькая.

И вот день на ущербе. Окончив служебные хлопоты, во внутренние свои моря плывет прямая спина Титаника, большая его фуражка. Этажом ниже плывет ладный китель.

Игнат сидит на ступеньках крыльца, чуть трогает струны:

— Там-тим-там-там...

Титаник не знает, что Игнат специально незатейливой этой мелодией встречает его у родного причала.

Титаник еще за калиткой рокошет, будто гремит якорной цепью, и пускает клубы дыма. Навстречу бежит Вячик, сын его, приятель Сереньки. Вячика бьет падучая, но Серенька завидует Вячику — у Вячика есть отец. Вячик, как юркий катерок, подстраивается к борту Титаника. Титаник спрашивает:

— Шпана смирно ведет себя, Вячеслав?

— Все хорошо, папочка.

— Но-но. Главное, чтобы шпана была смирной.

Шпана — население двора, где живет Серенька. Можно назвать всех по именам, это недолго. Игнат, он слесарит в бытовке на базаре, медную и цинковую посуду латает. Игнат нем, но слух у него прекрасный. Внезапно услышав из черной тарелки репродуктора «Полонез» Огинского, Игнат замирает и бестрепетно стоит там, где застали его чудные звуки... Мама Сереньки — ее зовут Васильевна, она белошвея и обшивает весь двор. Сам Серенька — шпана отпетая. Есть еще Софья Гавриловна Павловская, уютная старушенция по кличке Не Китай: есть у нее на все такая присказка. Странно, Софье Гавриловне прозвище очень понравилось, и она отзывалась на него.

Да-а, Софья Гавриловна тоже шпана.

Титаник пришел как-то в подпитии, уже сумерки витали над округой, тренькал на гитаре Игнат. Пахло спелым укропом с огорода. Серенька напоил березу и сидел в комнате, читал «Тайну красного озера», книжку про Сихотэ-Алинь.

И тут громовая октава трансатлантического лайнера потрясла двор:
— А ну, шпана, по избам! Хочу один думать. Живо, кому говорю...

Серенька утлое сердце свое зажал руками и чуть не заплакал от обиды. Ну почему, почему так не повезло их двору? У Маруси Безотказной на дворе, бывает, плачут солдатики, ссорятся пацаны, но в другие дни Серенька ходит к соседям в гости; Сереньку любят одинокие женщины, угощают его чаем, а Сереньке кажется — даже товарняки будто на цыпочках прокрадываются вдаль, боясь потревожить мир на дворе у Маруси Безотказной.

А дома, на Серенькином дворе, негласным монархом стал Титаник. Монархи бывают злые и несправедливые, нудные и отходчивые, крикливые или молчаливые. Титаник же бывал добр, но доброты Титаника не грела Сереньку и двор.

Зимой, когда обвалы снеговые переключают все тропы и к железной дороге на санках не продерешься, Серенька воровал уголь.

Но подросток Серенька, жизнь полечала — стыдно стало воровать, и Васильевна выписывала уголь на топливном складе. А на топливный склад с кулем не побежишь — засмеют; и женщины, осенив себя знаменем, ходили к Титанику просить машину.

Титаник отмалчивается, как министр, неделю, сосет наборный мундштучок, и все уже думают: отказал, отказал. А октябрь на дворе, дом продувает насквозь по ночам, и к ноябрьским обещают по радио большой мороз.

Но вот в полном парадном выходит Титаник на крыльцо.

— Все на крыльца! — приказывает, не надрывая глотки, Титаник.

Игнат тотчас выходит на улицу, Софья Гавриловна тоже выходит, и Серенькина мама, и тетя Марфа. И Серенька.

— Слушай сюда! — говорит Титаник. — Завтрь приготвить гроши, дам транспорт под уголь. Вопросы есть?

Софья Гавриловна поднимает ладошку:

— Мне бы пиленых дровишек. Игнат поколет, а я на растопку буду их сушить, поленицей пристрою за сараем.

— Слушай в последний раз, — рычит Титаник. — Завтрь машину даю под уголь. То не означает, что дров нельзя привезть.

Никто никогда не осмеливался отвергнуть благодеяния Титаника, и Сереньке стало казаться, что так было и будет вечно.

С замиранием сердца думал Серенька: что же случится с двором, если однажды Титаника не станет? Ох, мурашки по спине!.. Кто дров привезет? Кто скомандует огород садить, кто всех на пляж сведет?..

Был и такой грех за Титаником — в воскресный июльский день Титаник вывел всех на улицу и приказал:

— Смотри наверх. Светило ярится. Смотри вдаль. Чистая кудель облака... Идем на Песчаное купаться и возгорать.

На озере Песчаном Титаник освободил женщин от опеки, но Игнат,

Серенька и Вячик по счету Титаника падали в воду и по команде выходили на берег.

— Что вы без меня делать будете? — говорил, сидя в черных трусах на песке, Титаник. Труссы шестидесятого размера по заказу тети Марфы шила Серенькина мать. — Погибнете, утопнете то есть.

И Сереньке мерещилось — погибнут, точно. Он представлял в картинах: огород в запустении, рассада огуречная пожухла в парниках, капуста выветвилась, не уродила. Береза, посаженная отцом, увядает под окном...

Серенька невольно, как и Вячик, научился быстро исполнять указы Титаника и преданно смотреть ему в глаза.

А нынешним летом и Титаник подобрел, оказывается, природа тирании способна на неожиданные ходы. Впрочем, торопиться не будем.

За ужином, растелешившись без свидетелей, Титаник втолковывал Вячику:

— Друг твой Сергей дисциплину блюдет, по моим стопам пойдет. А кто ты есть? Больной? Нет, ты шпана, шалопайством прикрываешь недуг.

Вячик терпел речи Титаника, только поддакивал, но однажды, побелев, сказал вдруг:

— Да, папочка, понял я, плохой я у тебя сын. А зачем ты, папа, на вокзал все ходишь и ходишь?..

И Вячик забился в падучей, тетя Марфа прижала сына к груди, а Титаник как сидел с бараньей костью у отверстого рта, так и онемел.

Через минуту, когда Вячика перестал колотить приступ, Титаник сказал:

— Но-но, — и вышел на крыльцо с сигаретиной. И молчал сутки, а и потом молчал. И никто ничего понять не мог. И Серенька не понимал, зачем молчит Титаник. И нет ли в молчании его тайной угрозы?

Серенька допрашивал Вячика, Вячик поджимал бескровные губы и тоже молчал.

А в дом поступил еще один сигнал, и двор замер от неожиданности: при всем честном народе Титаник взял за вихры Вячика и Сереньку и поцеловал их в мягкие лица.

— Ягнята вы мои, — сказал он и застонал будто.

Все оказалось до обидного просто — Титаник влюбился. Никто не застрахован от любви в самом неподходящем возрасте. У Сереньки была любимая девочка Ира Коноплева, из седьмого «Б», тонкорукое существо с красным бантом на черной головке, с точеной матовой шеей. Давно, еще в пятом классе, Сереньке приснился сон — будто теплой своей ладонью Ира прикоснулась ко лбу Сереньки, и он погиб, погиб безвозвратно.

Влюбился и Игнат. Он влюбился в Марусю Безотказную; Титаник, узнав об Игнатовой любви, немедленно велел ему жениться. Маруся тоже мечтала о домашнем уюте, но сомнительная слава мешала ей вы-

брать достойного человека, а на немой зов Игната она стыдливо не отвечала.

Но вот как-то вечером, когда Игнат и Маруся привычно сидели каждый на своем дворе и через огород смотрели друг на друга, Титаник, накинув для пущей важности китель, пошел к соседям, взял Марусю за руку, привел ее к Игнатову крыльцу, соединил их руки и изрек:

— Будьте как муж и жена, черти полосатые! — Оба они, как и многие в Урийске, обзавелись полосатыми ночными пижамами.

А следом и Титаник попался в сети. Некогда возлюбленной Титаника была его жена тетя Марфа. Под стать Титанику тетя Марфа выглядела великаншей, в общем, это была пара. Из топографического отряда Титаник привез две солдатские кровати, сварил их, получилось королевское ложе, и иногда по ночам дом на Шатковской слышал, как в топках Титаника бушевало пламя.

С годами, однако, пыл Титаника угас, и он больше жил заботами о дворе, забвение находил на службе. Титаника ценили в квартирно-эксплуатационной части, по заслугам ценили. И на родном дворе Титаник оказался незаменим. Особенно поразила всех его прозорливость: ведь это надо же, перехватил потаенные любовные взгляды и судьбы соединил. Библейская слава постепенно окутывала Титаника, у Васильевны выросло вдвое больше заказчиц — женщин тянуло вблизи посмотреть на легендарного человека.

Серенька, подрастая, думал неустанно: да чем же он, Титаник, плох? Работает с зари до зари. Огород наравне с женщинами возделывает, на пляж водит все население двора, пусть под конвоем, но не уголь же воровать водит, а купаться...

И потому малейшие перемены в настроении Титаника все больше отзывались на каждом, каждого лично задевали грустные воловьи глаза Титаника, а необъяснимая агрессивность тети Марфы вызывала неприязнь у женщин во дворе.

Серенька заметил, что тетя Марфа невзлюбила все железнодорожное. Раньше вместе с Вячиком Серенька бегал по воду на запасные пути, и вдруг Вячику велено не брать воду на путях, а ездить с бочкой к колонке. Колонка была на два квартала дальше, а главное — вода-то из цистерны хлоркой не пахла.

В буфете на вокзале время от времени продавали соленую горбушу. Но уже третий раз тетя Марфа запрещает Вячику стоять с Серенькой в очереди на вокзале за горбушей.

И во всем облике Титаника — к нему Серенька присматривался особо — сквозила странная меланхолия.

Утро. Титаник чисто выбрит, белый подворотничок туго облегает шею. Ну, о сапогах говорить нечего. Но — прозорлив Серенька — уже и утром Титаник рассеян. Он совершенно по-штатски приветствует Игната и Марусю, когда те высказывают на улице.

Полдень. Титаник меняет костюм и уходит в брюках навывпуск. Уходит он, пряча в глазах остренькие огоньки; тетя Марфа провожает мужа мятущимся взглядом.

Вечер. Уже два часа, как Титаник должен быть дома, но появляется он к девяти.

С поволокой в глазах Титаник входит в калитку, потом — стыдно сказать — достает корочку хлеба из кармана и тихо зовет:

— Нюра! Нюра!

Озноб холодит лопатки Сереньки, когда он видит, как коза Нюра, ранее ненавидевшая Титаника, идет безбоязненно к нему.

Титаник садится на крыльце.

— Васильевна, — глухо обрабатывая слово, роняет Титаник. — Я потухший вулкан... Я живу по колену в пепле...

Но лето идет на убыль. Тускнеют закаты, августовские дожди вздувают ручьи; на Урийск наваливаются останние деньки бабьего лета. Двор готовится к сбору урожая. Игнат ладит свадьбу с Марусей, по его заказу Серенькина мама шьет невесте розовое маркизетовое платье в оборках. Маркизет сильно тянется, это раздражает Васильевну, но она крепится и бесплатно шьет платье, грех с Игната копейку взять.

Софья Гавриловна носит по охапке из оврагов пахучее сено для Нюры.

Серенька и Вячик, забыв про уроки, гоняют на старом велосипеде по улицам Урийска.

Одна тетя Марфа тоскует, сердце подсказывает ей ежечасную тревогу. Она уходит куда-то из дому, дважды Серенька видел тетю Марфу на вокзале; она сидела среди отъезжающих, прикрывшись косынкой, и будто не узнала Сереньку. Но беду тетя Марфа проворонила.

Присушница Титаника работала дежурной на станции Урийск. Звали ее Катя, Катя Черепанова. Была она деваха видная, полнотелая, с копной каштановых волос, на которых чудом держалась нестерпимо красная железнодорожная фуражка.

Каждые два часа или через час Катя Черепанова выходила с жезлом на перрон, проскакивал товарняк или скорый (тогда скорые не останавливались в Урийске). Катя держала высоко жезл и снова возвращалась в каморку, слушала по сектору голоса соседних станций.

В тесную каморку наведывался Титаник. К станции он прокрадывался дальней дорогой, по-за складами, забытыми трофейными товарами. Так не раз слышал Серенька — товарные склады ломаются от немецких и японских трофеев. Басни эти рассказывал Кеха-американец.

На самом деле склады были забиты товарами ширпотреба, хозяйственным мылом, концентратами. Ночные пижамы — досужее изобретение портных из Бердичева — прибыли огромной партией и хранились на складах, недавно их выкинули в промтоварные магазины — урийцы с ума посходили. Достать полосатую пижаму и сидеть в ней, отходя ко сну, стало делом чести любого уважающего себя урийца.

В тот злополучный день неосознанная тревога заставила Титаника срочно ретироваться с вокзала. Трусцей он пробежал перрон, поправил фуражку и вышел на божий свет. Скоро он встретил двух солдатиков из топографического отряда; по укоренившейся неизлечимой привычке Титаник сделал внушение солдатикам за неуставной вид. Когда солдатики приснули и побежали от него, Титаник должен был догадаться, что происходит что-то неладное. Но Титаник, укрощая невнятную тревогу, достал наборный мундштучок, закурил — что делал на улице чрезвычайно редко — и пошел, не торопясь, по Шатковской к дому.

Титаник совсем уже успокоился, когда увидел родные места: жидкую рощицу, мосток через ручей и старую березу под окном у Васильевны. Из-за угла вынырнула Софья Гавриловна, в холщовой торбе было у нее сено.

Софья Гавриловна ладошку приставила козырьком — солнце готовилось кануть и заливало Урийск ослепительным светом.

— Бравый ты нонче казак, — сказала Софья Гавриловна со значени-ем.

Но и сейчас Титаник ничего не понял. Он вошел в калитку, держа на отлете Нюркино довольствие. И весь двор обратил на него пристальное внимание. Титаник был польщен. Когда тебя любят и боготворят, это так приятно.

На огороде возился Серенька, отнимая у парников оконные рамы: летом рамы спасали от ночных холодов раннюю завязь, но лето кончилось. Когда Серенька увидел Титаника, в груди у него обмерло. Серенька растерянно присел на корточки, ему хотелось крикнуть Вячика, но Вячика отослали за крупчаткой к хлебозаводу на велике, Вячика не было дома.

Двор заворуженно и молча смотрел на Титаника, а из укрытия смотрел на него Серенька.

На голове Титаника красовалась оранжевая, как солнце, фуражка Кати Черепановой.

Титаник вальяжно откланялся обществу. Придержав чужую фуражку, с полупоклоном ушел в сени. Следом раздался взрыв. То взвыла белугой тетя Марфа.

Красная фуражка вылетела во двор и, распугивая кур, колесом помчалась по траве. Коза Нюра сделала стойку, будто хотела боднуть фуражку.

Не помня себя, Серенька выскочил вдруг из укрытия, схватил фуражку, как кошка, взобрался на чердак, а оттуда через слуховое окно выметнулся на крышу и водрузил Катину ни в чем не повинную фуражку на голубиный шест.

Позже Серенька пытался понять, что с ним, Серенькой, тогда происходило, и со стыдом думал о своем поступке. Титаник, обезумев, бежал по двору и хрипел с надрывом, словно ему ткнули финкой под левую лопатку.

Игнат перстом указал Титанику путь к звездам. Ломая перекладыны хлипкой пожарной лестницы, Титаник влез на чердак, продрался сквозь окно; и в сгустившихся сумерках соседние дворы увидели, как к небу карабкается человек в форме майора Советской Армии, как он трясет голубиный шест и, обломив его, ловит красный предмет и падает по скользящей щепе навзничь; и только старая береза — боже, как много доброты бывает в неодушевленных лицах! — приняла Титаника в свое лоно, и майор на мгновение потерялся в бронзовой листве.

Береза-то и спасла Титаника. В то время как Серенька, кляня и ненавидя себя, отлеживался в картофельной ботве за изгородью, а Софья Гавриловна молилась, обращая молитвы к закату, а Игнат пощипывал струны для Маруси Безотказной, — береза, посаженная Серенькиным отцом за день до фронта, молча обняла Титаника. Он медленно просеялся сквозь ее гибкие ветви и теперь лежал у ее подножия, а желтые листья падали на его лицо. Наконец Титаник опомнился и сквозь листопад выкрикнул внятно:

— Простите, люди хорошие, за позор!

Титаник привстал даже на колени, когда отыскивал эти слова: «Простите, люди хорошие, за позор», — но силы оставили его.

Серенька пришлось бежать за «скорой помощью». Серенька бежал и плакал, ему жалко было Титаника.

Красную фуражку Маруся завернула в полотенце и унесла на вокзал.

1974

ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ

Готовясь к ночи, она говорила:

— Мальчик мой будет лучшим мальчиком в Урийске.

— Что значит лучший? — спрашивал предполагаемый отец.

— Ну, он не станет лгать. Вы, мужчины, лжете на каждом шагу. Нужды нет, а лжете. И он будет любить свой дом.

Предполагаемый отец раздевался донага с некоторым сомнением, в расчеты его не входил мальчик, да еще мальчик невиданных добродетелей.

— Ты чего, Верк? — предполагаемый отец потягом звал ее к себе, она с охолонутым сердцем переступала черту; дальше, за чертой, поезд шел стремительно или с долгими остановками — в зависимости от мощности локомотива.

Она вслушивалась в музыку этих ночей. Когда музыка была осенней, с размеренным ненастьем, ей думалось: сейчас творится будущий ее сын. А если музыка была бравурной, напоминающей воинский оркестр, значит, опять не повезло и мужчину надо сменить, заплатив ему допол-

нительной ночью или одним часом дополнительной ночи, ничё, она и так одарила его через край, век бы не знать этих одариваний и этих ночей.

И вновь подступало к гортани благодетельное одиночество, она возвращалась к любимому, к иконописному лику его на стене. Они сфотографировались в последний день, в маленькой мастерской на Сталинской. Он сел в кресло, она встала рядом, он поднял взор, фотограф шелкнул, запечатлев навеки юношу восемнадцати лет с печатью отвержения на челе и ее, пречистую деву Веру.

Зная час отправления, они просили родителей не трогать их, не прикасаться, не звать пить и есть. Забыть о них. Он оставил завод, а она школу, где доучивалась в десятом, девичьем, классе; они пошли по городу, к Умаре. Умара разлилась, приглушив хор лягушек в лугах. И громко плакала перепелка в залитом половодьем орешнике под обрывом. Он припас в дровянике охапку сена, оно пахло медунницей. Она открыла всю себя ему, но он был так слаб и неумел, что сокровенная тайна ее осталась тайной. Проводив его — она побежала за эшелоном и отстала — она вошла в дровяник, заперлась, упала на топчан, замычала, ерзая по примятому сему, доставая, вынюхивая сквозь настой медунницы его девственный, отроческий запах. Каждое лето, много лет подряд — даже родив мальчика — она приходила к дровянику, отпирала амбарный замок, навешивала крючок изнутри, ложилась ничком на доски и вдыхала давно канувший запах их непорочной любви.

Его увезли на восток. Она молилась, молитве ее обучила бабушка, чтобы японец не принял. Японец не принял, но прынули мы. Августовское сообщение по радио застало ее врасплох, она кинулась к бабуле, уткнулась в иссохшую грудь, запричитала.

— Что ты, Верочка?! То баловство, а не война. Уцелеет твой Вадик, — но Вера давилась плачем, растелепой ушла домой. Дома она помыла лицо холодной водой, заплела косу, встала вполоборота к окну и заговорила с таинственными силами.

— Я расскажу Тебе все без утайки, — сказала она, — если где я совру, пусть сгорит этот сарай и я сгорю в нем. Мы познакомились с Вадиком детьми. Нас привели в девятую школу после четвертого класса, позвали в просторную комнату. Я увидела мальчика в застиранной косоворотке, искорка металась и опадала в его глазах. Он младенчески назвал себя: Вадик. Мы сели за высокую парту, ноги наши потеряли опору, за этими партами в первую смену сидели восьмиклассники. На уроке, твердо знаю, на первом или на втором, я поняла, что он смотрит на меня. Я не смогла слушать учительницу, я думала о нем и о нас. Он будет садовником и будет жить в саду, на окраине города, в Ставровском предместье. Однажды я приду к его дому, до утра промерзну у калитки, ночью к одинокому мужчине войти неприлично, а утром постучусь, взлетает овчарка, он выйдет и спросит: «Что вам угодно?» — «Мне угодно видеть

тебя». — «Ах, это ты. Входи, Верочка. Карай, место!» — я войду, скину легкое пальто, мне шила его на вырост бабуля, и скажу: «Я хочу быть твоей вдовой».

Учительница что-то рисовала мелом на доске, пел дрозд на ветке за окном. И Вадик ответил мне: «Хорошо, ты будешь моей вдовой», — что за напасть, скажите, он след в след пошел за мной, за моим словом.

Не сразу я поняла, что таилось в скорбных глазах мальчика, с которыми я делила одну парту. Мы стали гостевать, он приходил к нам домой, а я — домой к ним. Однажды он спросил, кто это на портрете в моей спальне. Отец? Да, отвечала я, то мой канувший папа. Уже три, четыре, нет, пять лет мы не получаем от него писем, а наши письма тонут в проруби, так мама считает: «Наши письма тонут в проруби». И судьба повязала нас. Вадик рассказал мне, как вслед за отцом брали Костю. Костя работал в паре с отцом на паровозе. И ночью отца увели прямо с рейса, под Тимановской, начальник станции сказал Косте: «До Урийска двести километров, доведешь без машиниста состав. Напарника — парнишку мы тебе дадим». Через день в локомотивном депо Костя угорело выпалил, что он не верит, «и никто не должен верить, что отец мой враг». Собрание угрюмо молчало, каждый боялся за себя, за близких, поэтому все молчали. И Костя исчез тоже. Мать не выдержала второго удара, речь ее повело, мы угадывали по отдельным словам, что именно она пытается сказать. Лицо Вадика в те дни обуглилось. Я помогла ему полоть огород, варила обед. Мать немо благодарила меня.

Но началась война, по Урийску прокатился голод. Вадик пошел в паре с Венькой Хованским, переростком, на распиловку дров, но их редко нанимали богатые. Когда Веньку призвали в армию, Вадик вдруг отдалился от меня, стеснялся есть у нас, он сжался и съежился, и почему-то все реже появлялся на Комсомольской. Я металась подранком.

Однажды на летней толкучке мама пыталась продать отцов костюм и в толпе увидела Вадика, ей показалось, он что-то выменивал.

В воскресенье я пошла сама к толкучке, шныряла по рядам.

Наш базар, Господи, благословенное место — там нет знатных со Сталинской улицы, а все народ простой, с Мухинской, с Шатковской, с Переселенческой, из предместья Ставровского. Таким он остался до дня нынешнего, вперемешку стоят здесь скорняки и китайцы — огородники, краснодеревщики и швеи.

Я спряталась за телегой с дегтярным духом. Скоро я увидела Вадика с кирзовой сумкой в руке. Он прошел в межрядье, где торговали озерной и речной рыбой, рыбы сегодня не было, и мясом, мясо стоило втридорога, все приценивались, но редко кто брал кусок стегна. Вадик сказал какие-то слова волоокой женщине, она свысока посмотрела на Вадика и огляделась. Вадик терпеливо ждал. Женщина произнесла условное. Вадик полез в сумку, вынул газетный сверток, протянул женщине, та взвесила сверток на ладони и выдала Вадиду крохотный кус говядины. Ничтожная тайна торговой сделки заставила меня в воскресенье снова

пойти к дегтярной телеге, телеги не было, тогда я скараулила Вадика задолго до мясного толчка, кралась следом и встала за спиной, когда он чуть наклонился и сказал:

— Уговор дороже денег, тетя?

— Пошел вон,— сказала она сквозь зубы.

Вадик побледнел и едва не побежал, но узнал меня и сразу все понял.

— Эх, ты,— вздохнул он.

Я походя, как мать, погладила его по плечу.

Мы вышли из рядов.

— погоди,— сказал он, ушел и вскоре вернулся, а вернувшись, пристально стрельнул мне в глаза.

— Мы так не договаривались,— сказала я.— Я все пойму. А молчать я умею не хуже тебя.

— Да, умеешь. Но когда ничего не знаешь, молчать легче.

Это взорвало меня:

— Ты уматный! Ты сопливый ротан!.. — урийские оскорбления выскакивали из меня и отскакивали от него. Он был спокоен, как муж, на которого привычно кричит жена. Я подумала: мы муж и жена, он делает мужское дело, а я встречаю в это дело. Но роль надо довести до конца, и я сказала:

— Не приходи домой.

— Ну, я и не приду,— он боком повернулся и боком пошел от меня.

А я — я шла следом. Я шла и думала: ну вот, я стала его женой, а мне еще учиться в седьмом классе и дальше, но я не могу его оставить, я не сдую, если он сейчас исчезнет насовсем. А потом, что и кто я без него? Соломенная вдова...

Но став в тот день мужем и женой, мы чувствовали одинаково, он должен был оглянуться, чтобы сказать мне, идущей следом: ладно, черт с тобой, я не злюсь на тебя,— и он оглянулся. Я встрепенулась и бросилась к нему. Он опустил руку в кирзовую сумку, достал тонкий ломоть сала. Этого нам с мамой, сказал он, хватит на неделю. А там я снова пойду на промысел.

— Ты возьмешь меня,— сказала я.

— Ночью тебя не отпустит мать.

— А тебя отпускают?

— Летом, ты знаешь, я сплю на чердаке. Мама ничего не знает.

— Я тоже буду спать на чердаке,— сказала я, но вспомнила черноту нашего чердака, шорох летучих мышей, запах пыли.— Или в летней кухне, да, лучше в летней кухне.

Через день я упросила маму, взяла Барсука, ленивую дворнягу, мы устроились в летней кухне, слушали стрекот кузнечиков. Прилетела ворона и оглашенно каркнула. Я караулила маму: придет проводить меня или не придет. Как-никак мне шел четырнадцатый год, я становилась

объектом, так сказала мама бабуле: «Верочка становится объектом», — бабуля рассмеялась: «Пора. Раньше девка в четырнадцать лет снопы вязала. Но у нашей Верочки есть суженый». — «Ох, — сказала мама, — суженый дышит на ладан». — «Выправится. Мальчики как утята гадкие, зато потом лебеди».

Мама не пришла. Утром, по холодку, я пролила теплицу и сварила картошки. Мама похвалила меня. Днем явился Вадик, церемонно поклонился маме, а потом, при маме же, сказал, что с Кешей Федоровым, новым приятелем, уйдет на сутки рыбальте; если повезет, они снимут с переметов пяток щук.

Он усыпил бдительность мамы. В полночь он присвистнул, я вышла огородом к улице Подгорной. Мы быстро пошли к вокзалу и за вокзал, миновали полотно железной дороги, спустились с насыпи к болоту. Поплутав в тальнике, мы вброд вышли к островку. Вадик сказал: «Переоденься и платье оставь здесь». Вадик подогнал плот к берегу, протянул руку, я встала на крепкие шпалы, Вадик оттолкнулся, мы пошли в зарослях куги кругами, плот держал нас слабо, но мы были босы, вода, заливавшая ступни, казалась теплой. Простонал кулик. Вдруг мы уперлись в высокий сплошной заплот. И я поняла, куда мы шли — к товарным складам. Вадик разделся, сполз в воду, нащупал нижний, затопленный край заплота и мгновенно потонул, следом я услышала с той стороны заплота: «Не бойся». Я воскhitилась — как просто. И никто этого не знает во всем Урийске. Мне показалось, Вадика я жду вечность. Но всхлипнула вода, я услышала: «Держи», опустила руку в воду и нащупала сетку, взяла ее, следом вынырнул Вадик. Он вскарабкался на плот, мы поплыли назад. Вадика начал бить озноб, но на берегу он оделся. Я ощупала вязанку-авоську, в ней, как рыба в сети, трепыхались три печатки хозяйственного мыла. И это все, горько подумала я. Бессонная ночь, болото, в котором можно утонуть, грохочущие поезда, переодевание — и три печатки скользкого хозяйственного мыла.

Мы дожили до воскресенья, сошлись днем возле толкучки. Я достала зеркальце и подвела брови, взяла кирзовую сумку и пошла в торговые ряды.

Протиснувшись сквозь толпу к рыбным рядам, я подошла смело к седому дядьке, приценилась. Он осмотрел меня и назвал цену. Я сказала: «За эти десять окуней я заплачу мылом». — «Чем, дочка, заплатишь?» — «Три печатки хозяйственного мыла». Он подумал и вздохнул: «Ты, дочка, бьешь меня под дых».

На промысле лето мелькнуло неделей. Вадик больше не взял меня в ночь, я знала, сегодня он снова пойдет на плоту к товарным складам, переживала за него, но не отговаривала. А в воскресенье мы шли на базар. Я подводила черным глаза, выменивала на мыло соль и соевое масло, рыбу или кости, если не было мяса.

В июле зарядили дожди, вода на болоте вспучилась. Вадика стало трудно подныривать под заплот, а там, у стены склада, нырять второй

раз, под стену. Огород вымок. Мы прорыли глубокие борозды, пытались спустить воду в канаву, не помогло. Ничего, сказала я, на Комсомольской картошка уродит, у нас посуше, мы поделимся с вами.

В конце лета мы не выдержали и шиканули. Я поменяла мыло на деньги, то есть продала его. Вадик купил розовое мороженое, угостил меня сидром в Есауловом саду. Мы сходили в клуб обороны, купили билеты на «Морского ястреба». Этот фильм про английских моряков и девушку на берегу, она остается и не знает, вернутся ли они из боя с немцами. Я наревелась в кино.

Снова, но уже раз в месяц, я выносила на базар мыло, почти не остерегаясь знакомых — увидят, донесут маме. Да и мама, кажется, что-то поняла, но молчала.

На лето, которое пришло в свой черед, Вадик устроился в Ставровском саду, мы обедались малиной, вялили и сушили груши, наши комнаты пропахли грушевым запахом. Можно заготовить варенье — не было сахара. Вадик повздыхал и дважды повторил прошлогодний подвиг, наши мамы наварили варенья, спустили в подвалы. Каникулы казались безоблачными, в школу идти не хотелось.

Изредка приходили Костины письма. Отпросившись из лагеря на фронт, он угодил в госпиталь, мыкался по обозам — рана не заживала — и в запасном полку, но воевал снова. Взяли в армию Кешу Федорова. Странно, Вадик всегда дружил со старшими ребятами, командовал ими, но про походы к товарным складам он не рассказал Кеше, боялся, будет Кеша презирать его за воровство. Перед армией Кеша слесарил на Автозапчасти, ходил страшно уверенный в себе. Стали приходиться тревольщики и от Кेशи, он служил в танковых, горел дважды, получил медаль и орден, потом пропал без вести и отыскался, когда Вадик сам ушел в армию.

После восьмого класса Вадик пристроился на Кешино место слесарить. Работа выматывала, однако походка Вадика остепенилась, выправилась. Бабуля как-то увидела его после завода и сказала маме: «Ну, что я говорила, лебединая статья у Вадика-то. Гадкий утенок преобразился».

Вадик все еще боялся притронуться ко мне, застенчиво смотрел, как, подобрав подол, я мою полы в их доме, порывался помогать, я прогоняла его на кухню. Я прикасалась к щеке неулыбчивой его мамы и уходила, мать немо приказывала: «Вадик, доведи Веру до дому, а то ей страшно, да и ты переживать будешь». Мы выходили под звезды, россыпь их казалась тыквенными семечками на темной сарже, подымались вверх по Переселенческой. У почтамта мы слушали из тарелки репродуктора поздние известия: «Наши войска вели бои за Смоленск», «наши войска одолели Дон», «наши войска вернули Харьков»...

На улице Комсомольской мы прощались. Журчала серебряно цепь, опускаемая в криницу, — украинская «криница» прижилась в Урийске окончательно, когда к нам хлынул поток беженцев. Мы пили ледяную воду из бадьи, ломило зубы.

В сентябре сорок четвертого Вадик не сразу сказал, что принесли повестку в военкомат, тайлся он и от матери. За двое суток до отправления он вызвал меня с уроков,— пропустив год, я с грехом пополам училась в десятом. Никогда он не звал меня из школы и о школе не упоминал, теперь я понимаю, почему: школа для него была потерянным раем. Я выскочила на улицу.

Вадик стоял под козырьком парадного подъезда. Школа наша красивая, белокаменная, с гранитными ступенями. Он стоял на гранитных ступенях, сентябрьский дождь косо доставал его русую голову, он поднял лицо, ловил ртом капли. Он набрал полный рот дождевой воды, притянул меня и из губ в губы напоил дождем. И я поняла: повестка.

Вадик, сказала я, я никогда не забуду тебя и наш сад не забуду... Какой сад, спросил он, слушаю меня и дождик, слепо обивавший желтые листья молодого тополя за козырьком... Тот, в котором ты работал и жил, у тебя была большая добрая овчарка Карай. Однажды я пришла к тебе ночью... А, сказал он, сад в Ставровском предместье, я хотел бы не сторожем, а садовником в нем быть... Я не забуду пароход, которым мы уплыли из Находки и в море утопили часы, чтобы потерять время, сказала я... Пароход был трехпалубным и назывался «Можайский», ответил он, на корме тренькала гитара, кто-то пел «Гори, моя звезда»...

Боже, он прозревал несбывшееся, которое сбудется не у нас.

И не забудь товарные склады, нашу толкучку и кислый запах хозяйственного мыла, попросил он.

Запершись в дровянике, я увидела истонченное трудом и полуголодом его тело, мне стало стыдно, я была неприлично полнотелой и крупной, я припала к нему и сказала: «Вадик, я буду твоей вдовой, я никогда не выйду замуж... А когда ты вернешься, родится мальчик, мальчик наш будет апостолом»... Вадик лежал на сене, запрокинув голову. «Мальчик наш будет апостолом,— сказал он,— какая беспросветность и какая надежда...»

Ты молчишь, небо? Но ответь мне, почему сад в Ставровском предместье отдан другим, а не нам с Вадиком. Разве они достойнее нас?.. Почему не нам позволено выйти туманным утром из залива Америка. Они достойнее нас?.. Почему не нас одарил островом Дятлинкой? Они достойнее нас?.. Но если они и достойнее нас, пообещай мне малость — пусть израненный или отравленный японскими газами Вадик доплывет, добредет до Урийска, я сама раздену его и силой возьму его семя, чтобы начать род сначала.

Облегчив сердце кошунственной речью, она посулила в конце смирение. И скоро полетели треугольники и открытки с легкими пагодами, с луноликими женщинами в кимоно.

Вера хранила письма и открытки с Вадиковым портретом в нише и ходила, как Ли Цинчжао, шепча заклинания, не поднимая слабых рук к прическе.

Когда на линкоре «Миссури» был подписан мир, Вадим поверил, что Искренний, сын ее, будет и его сыном. Диковинно — он вызнал, что Урийск наречет их сына Искренним.

Но когда он поверил в возвращение домой, давняя усталость ослабила его волю к жизни, он замолчал, тоскуя, перебирал, как четки, онемевшие воспоминания. Внезапно он почувствовал себя старцем, никому не нужным в этом мире. Жизнь исполнена и должна продолжаться другими, чужими и толстокожими, не надо им мешать, не надо унижаться, просить участия или милости — пусть все, чему положено сбыться, случится у других.

Зимой — а зима в Порт-Артуре стояла понурая — Вадим стал писать, притулившись где попало: в казарме, на посту у блокауза, на пристани. Он захлебывался словами, боясь не досказать заветное. Он возвращал обручальное кольцо.

Вера читала странные — после полунемотных открыток и треугольников — на добротной лощеной бумаге — правдивые слова о том, что война есть величайшее из зол, и материнских слез никто не оплатит. И новые апостолы не спасут этот мир, привыкший к произволу и насилию, к ненависти и лжи. Свят, свят, муж мой, пиши смиреннее, тебе нельзя надсаживать сердце.

Вдруг он написал о Порт-Артуре: могилы наших матросов и офицеров на русском кладбище, той войны, распустились под дождями, кресты похилились и упали, — письма медленно шли через перевалочные базы и границы.

Получив очередное письмо, она шла к бабуле. Бабуля, надев очки, читала пришепетывая. Он у тебя старовей, говорила бабуля, и другим не будет. Вдвоем они сумерничали, приглашая на чай и его — а его уже не было.

Письма, как голуби с повязанными крыльями, одолевали пространства, — а его уже не было.

Остывала чашка с затураном; поглядывая на чашку, налитую для него, они ворковали вполголоса, — а его не было.

Он погиб в катастрофе, собственноручно приутожив гибель, — ремонтировал мосты студебеккером и самурайских короткорылых грузовиков, подтягивал тормоза и сцепление, потом проверял машины — понимался по бетонной дороге к Электрическому утесу, сходил на скорости вниз, к заливам. Тринадцатого февраля сорок шестого года в семь вечера на повороте, припорошенном сырым снегом, его занесло влево, развернуло, он мог выпрыгнуть, но не сделал этого, выкручивая руль, и с утеса упал на нижние уступы прибрежных камней. Его подняли, вычленили из раздавленной кабины, он был жив. Он сопротивлялся смерти, впадал в беспамятство, но опоминался. За час до ухода он позвал Ковалихина, Ковалихин был урийский, и западающим языком продиктовал строчки для Веры. Морща крестьянский большой нос, Ковалихин записал без знаков препинания сплошной строкой: «В простуженном горле

колодца журчанье цепи к живой бы воды окоему припасть и напиться смотрю я прощально в славянские очи твои у полуразбитой урийской криницы»...

Спустя два года Ковалихин вернулся в город, топтался под окнами ее дома, не решаясь войти, но вошел и отдал листок с полустертыми словами. Она сказала ему, жалея его: «Оставайся у меня на ночь, Ковалихин». Он остался, но увидел, что она у колодца, простился и ушел — и больше никогда не приходил.

Одолев первый приступ горя, она заторопилась замуж — до Ковалихина, — норовя забеременеть, чтобы мальчик мог бы считаться и его, Вадима, мальчиком. Она шла на ухищрения, заманивая в сети инвалидов войны и вдовцов, молодых она не трогала, с молодыми она могла изменить Вадиму. Забеременеть не удавалось — в изголовье ее все время стоял он, единственный.

Возвратились, отслужив, Венька Хованский и Кеша Федоров. Тоскуя, она украдкой стучалась к ним, но в жены не набивалась, даже противилась в жены. «Что ты, что ты, — натужно говорила она. — Вот кабы родить ребетеночка. Да лучше не родить. Он подрастет, а они затеят новую войну».

Последним пришел Костя. В полуобороте его лица был Вадим, в выдохе и вдохе — Вадим, в походке, похожей на движения большого щенка. Она ездила с Костей во Владивосток, к морю, чтобы увидеть над заливом город. В поезде и по приезде все шло нормально, но, прознав о морском кладбище с могилами нижних чинов крейсера «Варяг», она уговорила Костю пойти на морское кладбище, отказать он ей не смог. Там она кинулась искать среди надгробий камень с Вадимовым именем, Костя силой увел ее с погоста.

Лет пять, похоронив бабулю, она жила в тишине, служила на базе Амурской речной флотилии машинисткой. К ней сватались мичмана-сверхсрочники и офицеры, она поверила пожилому капитан-лейтенанту, скромно и целомудренно начала семейную жизнь; она спрятала портрет Вадима в бабулин сундук и оставила у матери, иногда, бывая наездами дома, смотрела в Вадимовы глаза. Но внезапно обнаружила: капитан — ее — лейтенант засматривается на юных послевоенных девиц, она немедленно дала ему отставку.

Потянулись годы, чистые и светлые, и она окончательно вырешила родить мальчонку. Может быть, войны не будет и мальчик доживет до старости, женится, она будет нянчить внуков. Но ей не везло — мужик шел разнужданный или увертливый и суетливый, не уриец, одним словом. А она поставила целью от урийца понести урийца.

На излете бабьего века неверное счастье улыбнулось ей.

Она высмотрела его на стройке, куда ушла — после базы — малярить, выслеживала терпеливо, принародно сказала заветное слово; он посмотрел на нее неиспорченным взглядом, хотел рассвирепеть, но она не позволила ему сфальшивить — чутье подсказало, что она заарканила

его, значит, свирепое прикрытие ни к чему. «Ты коренной уриец, — сказала она ему. — Я тоже выросла на корню». И Коновалов — так звали его — испекся. «А Коновалов-то испекся, — решили бабы, — эх, горюн-Верка, горюн-Верка».

Она сняла избу под Урийском, тщательно вычистила песком некрашенные полы, ситцевые занавески крахмалом облила, солнечный свет прошивал ситец и гулял по избе, пока она, уняв сердце, ждала его к урочному часу. Приедет или побойтся? Он приехал, трезвый и шумный, с полным вещешком: «Я на своем довольствии привык стоять и женщину способен прокормить». Он привез вино. Вино она разбила бутыл о бутыл и расхохоталась.

— Да эт как же, а! — багрово вскричал он. — В блиндаже без вина? Мне сто наркомовских подай к столу! Помню, на Курской дуге...

— На моей дуге, — отвечала она, — ты будешь пьян и без вина.

И день и ночь потерялись.

Случайные гости хутора, оборвавшие пуповину с землей, они вдыхали родимые запахи талого снега и навоза, слушали говор стариков, душа упокоенно восходила к сущему.

Так бы и тянулись праздничные часы, вслед за солнцем, — сутки, еще сутки, еще.

Но в назначенное утро он, распотрошив рюкзак, вынул печатку хозяйственного мыла и намеревался вволю похлопаться в бане, истопленной с ночи соседом, — она потянулась с белых простыней к серому кубу военного мыла и, сцепив зубы, задавила стон в подушке. Он рванулся к ней, она ослепленно целовала его, он отозвался небывалой лаской, но что-то торкало в заскорузлое его сердце — то ли мокрое от слез ее лицо, то ли память о ком-то, кто стучал и не мог достучаться в эту избу.

Она забылась сном, но скоро услышала тихую музыку и проснулась. Он, по зову, проснулся тоже. В окно ломился день.

Печь выстыла. Он разжег в печи огонь, ушел к порогу, сидел на приступке, примериваясь к тому, что скопилось в сердце и требовало исхода. Потом встал, приоткрыл дверь, набрал в легкие морозного воздуха и как на духу предложил ей союз до гроба.

— Э, не заманишь, — кротко посмеялась она, взбив седую прядь. — И у тебя дети. Я не хочу их обездолить.

Он вскипел, обложил ее грубыми словами, оделся, обрывая на полубушке петли, уехал. И уехала в город она.

Она заходила будто по делу в прорабскую к нему; он оставлял людей и наряды, жестоко смотрел в глаза, проводил открыто до Комсомольской, познакомил с детьми, такими же лобастыми, а дома молчал, сжимая виски, обдумывая, как жить дальше.

Через месяц, запыхавшись, она пришла к нему простоволосой, — в дороге сронила полushалок, — вызвала из прорабской на улицу и сказала:

— Теперь прощай. Мальчик, родится мальчик, не трогай и не помогай ни мне, ни ему. Не нуждаюсь в тебе, кончилась моя нужда.

Он запалил и смял папиросу, перекосив лицо.

— А мальчик мой будет лучшим мальчиком в Урийске, — сказала она. — Он спасет этот мир, погрязший в грехе.

1987

ВЕСЕННИЕ КОСТРЫ

В моем письменном столе хранятся ятаган — кривой турецкий кинжал — давний его подарок, его путевые тетради и фото пленки его десяти экспозиций. Вернулись вещи ко мне при странных обстоятельствах. Сестра из дома прислала письмо. «Был перед госпиталем Питухин, — говорило в нем. — Оставил тебе свои бумаги и пленки. Сказал, что «ему (то есть тебе) будет интересно». Он сильно сдал. Походы, видно, его измотали. Потом я запросила госпиталь. Мне ответили, что его с осложнениями перевели в другой госпиталь. Прошел год, и вот я пишу тебе».

Я вытребовал посылкой все к себе, и предчувствие тоже кольнуло меня, когда я прочитал в его дневнике: «Вся жизнь вместила на вокзалах, я жил годами в поездах... Не оттого ли так устало мерцает огонек в глазах? Не оттого ли, оттого ли все тяжелее дома жить? Не оттого ли тянется в поле бессмысленно с ружьем бродить».

Я тут же написал во всякие военные инстанции, но ответа не дождался: диковинной, наверное, казалась моя просьба сообщить адрес офицера такого-то и, следовательно, дислокацию его части.

И вот случайная командировка на Дальний Восток снова привела меня на тихую улицу Шатковскую, в родимый город Свободный, где долгие зимние часы одинокого отрочества я делил с квартирантом, военным топографом Питухиным. Бывший наш дом был заселен чужими людьми, я не решился войти в него. Но под теми же березами, опушенными легким февральским снегопадом, я дал обещание написать о человеке, который был первым моим учителем.

Я встречал людей, апостольски следовавших по стопам своих учителей, исповедовавших их догматы неукоснительно и истово. Я встречал людей вообще без наследственной традиции, людей без веры, космополитов, не знающих родства. Те и другие — жалки. Первые — откровенные рабы; вторые — талантливые или бесталанные дилетанты в жизни, перекасти-поле, склоняющие выи перед любым мало-мальски крепким характером, заушательски не соглашающиеся с господином случаем, но остающиеся игрушкой в его руках.

Я вернулся во Владимир. Стоял кроткий апрель. Клязьма еще не вскрылась, но снег уже сошел, высох; и в старом парке, где некогда Герцен с Натальей гуляли под липами, однажды я услышал запах первых

костров. Жгли прошлогоднюю листву. Детвора со всех окрестных школ, осененная куполами Успенского собора, прыгала через огонь. Дворники в белых передниках, похожие на раздобревших снегирей, бесшумно и быстро сгребали новые кучи.

Помните ли вы свои весенние костры? Как, скинувши кепчку,—помните?—вы разбегаетесь и что есть мочи отталкиваетесь от земли, и, как Ваня-дурачок, поплыли, поплыли над костром.

Помните ли? Вы идете по улицам вашего небольшого дальневосточного города, и ничто для вас не существует, а лишь тот крепкий вечерний запах догорающих костров...

И еще—помните?—в постель вы ложитесь, совершенно измаявшись, а от белой простыни, от подушки тоже почему-то пахнет костром, прогрвшимся тополем, мамой.

Вот мое главное воспоминание—весенние костры! Я не мог сесть к столу, чтобы писать о нем,—мне недоставало запаха прошлогодней палой листвы, сжигаемой огнем.

На Дальнем Востоке костры—давняя традиция, некий обряд освящения весны.

Мы собирали хрусткую картофельную ботву, разжигали высокий огонь. Питухин, если он еще был в городе, никогда не отказывался прыгать через костер первым.

В мае мы ходили по городу с подгоревшими бровями, и сосед, дядя Петрован, чтобы образумить Геньку, моего приятеля, купил ему настоящие брюки под ремень. А до того мы ходили в сатиновых или теплых шароварах на резинке. И Питухин, пошептавшись с мамой, купил мне шерстяные брюки и подарил свой узкий скрипучий ремешок.

Чудной нам попался постоялец. Как и все офицеры, он много курил; у него была серая заношенная шинель—«ШЭКС», шинель экспедиционная; коньяк на ужин и иногда на обед. Но когда он нес льняную голову свою по провинциальному Свободному и серебряные погоны тлели на его прямых и сильных плечах, было в нем что-то похожее на Георгия Седова, когда тот замышлял свое дерзкое путешествие к Северному полюсу.

Владимир Михайлович Питухин попросился к нам на квартиру, когда я учился в пятом классе. С гарнизонными офицерами население наших восточных городов уживается хорошо и привычно. Офицеры обычно снимают маленькие флигели или комнаты и вскоре становятся почти своими в семье. И когда офицеров переводят в другое место,—жизнь у них неоседлая,—то еще долго идут письма и всяческие поздравления: с днем рождения, с Восьмым марта и т. д.

Так было и у нас. Во время войны в нашем городе была кавалерийская часть, на квартире у нас стояли тогда веселые и бесшабашные люди. Неподалеку была тогда база Амурской флотилии, город пестрел черными бушлатами и бескозырками.

Потом пришла пора исследователей, топографов и геологов. И в дом наш вошел Питухин. Девятая школа, где я коротал зимы в ожидании весенних костров, не много занимала у меня времени. Но пришел топограф Питухин, и время мое затрещало по швам. Питухин ввел жесткий распорядок дня; он обрабатывал результаты экспедиций, черкал что-то в толстой тетради с коленкоровым переплетом, ходил молча часами. До поздней ночи в нашей комнате горела самодельная настольная лампа. Я большей частью читал, но иногда получал от Питухина странные задачи на географической карте. Например. Экспедиция Н., вылетевшая самолетом, потеряла радиосвязь с землей на третьем часу полета. Место вылета — Новосибирск. Курс строго на северо-восток. Определить широту и долготу квадрата предполагаемой катастрофы. Далее. Н. и двое уцелевших товарищей пошли на юг по компасу. Компас давал отклонение на одном градусе тридцать километров (компас оказался поврежденным при падении самолета). Средняя скорость движения группы — 10 км в сутки. Время движения — три месяца (компас уводил людей в тайгу, ненастная погода мешала хотя бы приблизительно вести отсчет по солнцу). Им пришлось зазимовать. Погиб еще один. Н. был в отчаянии. Но тут на них наткнулись аборигены-охотники. В каком это произошло квадрате, на какой восточной долготе и северной широте?

Вот это были задачи! Я и в топоотряд ходил смотреть на офицеров, обросших черными бородами, как на прообразы легендарного Н. Я стрелял на полигоне из стрелкового оружия не в фанерные мишени, а в медведей, в кабанов, в сохатых. Сладкий запах сторевавшего пороха туманил мне голову, как прежде — костры.

Вечерами в наших комнатах часто толпились офицеры. Приходил медленный и тяжелый Борейко, — так я звал его, — а на самом деле Николай Михайлович Игнатьев; вбегал Леня Леонтьев, бедокур и непоседа, и позднее появился Джага — так звали молодого лейтенанта Бориса Шампарова. Имя таежное Джага привязалось с легкой руки проводника в камчатской экспедиции, да и осталось.

Были и другие офицеры — теперь безымянные за давностью лет.

Джага в полевой сумке всегда имел запас коньяка. Он говорил, что это у него наследственная слабость. Леонтьеву приносили гитару, на кухне переставала стучать швейная машина «Зингер», к нам выходила мама. Мама любила казачьи песни, на которые Леонтьев был мастак.

Джага вздыхал, ему не повезло с проводником:

— Оказался угрюмым и жестоким. Знаете ли вы, что такое с пяти метров расстрелять в гнезде орлят? Они, бедные, на крыло еще не стали, а он их в упор. Маяться пришлось весь маршрут.

«Угрюмый проводник», «маршрут», «увалы» — какой, в сущности, незатейливый язык, но сколько в нем притягательной силы для пятнадцатилетнего мальчишки в любую эпоху. Мне казалось, что Пржевальский

сойдет сейчас с портрета, присядет вместе с нами, пошебаршит усы и поддакнет Джаге.

Они все — Питухин, Игнатьев, Леонтьев, Джага — почти одновременно окончили Ленинградское топографическое училище, и много в их разговорах было Дворцовых площадей, Медных всадников, Невы. Они клялись, что вместе когда-нибудь соберутся и поедут на Исык-Куль поклониться праху Пржевальского. Выполнили ли они свою клятву, не знаю, но в пленках топографа я неожиданно обнаружил три кадра: скромная могила Пржевальского, обнесенная железной оградой, памятник и уголок музея. Питухин читал стихи. Стихов он знал много (я не догадывался, что среди читанных были и его).

Запомнилось: «Мой старый фрак» Беранже и «К временщику» Кондратия Рылеева. Тогда же я впервые услышал поэму о лейтенанте Шмидте:

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века,—

пастернаковские строфы звучали на перепаде из 40-х в 50-е годы.

Питухин был потомственным помором. Как-то наш злополучный сосед, дядя Петрован, сильно ругался и называл Геньку сволочью. Питухин усмехнулся:

— А ты знаешь, Годунов (такую кличку он дал мне), «сволочи» — это доброе слово. В Архангельской губернии мужики по суше ладьи свои волочили, и потому их звали сволочами.

Топографом он решил стать после фронта (на фронт он ушел добровольцем семнадцати лет, в сорок третьем). Ему повезло — не только потому, что училище было на Петроградской, напротив Эрмитажа, но и потому, что еще был жив Берг. Питухин напросился на встречу к старику.

У Берга была большая и пустынная квартира, видимо, следствие блокадных лет, и Берг любил поговорить с будущими географами.

Лев Семенович Берг оставался живой легендой, наследником потрясающих успехов русской географической науки в XIX веке.

Берг садился в кресло напротив Питухина и говорил:

— Ну-с, продолжайте ваш рассказ. В прошлый раз я, к сожалению, не смог дослушать... — Берг был непоправимо ранен временем, ему шел восьмой десяток.

Курсант Питухин дотошно описывал Бергу природу Архангельского края, обычаи поморов, рассказывал о фронте.

Вскоре Берг умер. Но Питухин не смог принести цветы на его могилу, потому что началась страда экспедиций: чукотская, зейская, камчатская.

Все экспедиции, наверное, начинаются одинаково. Позднее мне приходилось участвовать в геологической и археологической партиях. У топографов начало было похожим. Много праздничной суеты, хлопот. Тусклые полевые погоны вдруг преобразуют офицеров; у них исчезает подпрыгивающая походка, потому что на ногах уже не сапоги, а мягкие ичиги. Плац в топоотряде пустеет. Озабоченные солдаты увязывают вещмешки, упаковывают продовольствие, чистят лошадей, лоснящихся нагулянным за зиму жиром. И в канун отправления отряда целая часть города, словно старинный посад перед уходом воинов, дымит кухнями, гремит ведрами у колодезных рам — готовит проводы, потому что уходят свои, кровные, родные, уходят на лишения; но как уходят — с гиком, в горьковатой веселости. И «Прощание славянки» на последнем построении медными трубами разрывает сердца горожан, и город как будто немеет.

Питухин покидал город задумчивым. Однажды я подсмотрел в его дневнике: «Уходить из Свободного тяжело, будто из родимого дома. А в городе все так же будет дымить хлебозавод, разнося вокруг теплые запахи опары. Но идти надо — снова и снова, чтобы не зарастала тропа, проложенная не нами; увы, мы идем по проторенным тропам, но и то честь: идти вторым».

Осознают ли нынешние молодые географы и топографы отечественную традицию в науке или решаются на трудности бивачной жизни бездумно?

Питухин осознавал себя наследником Роборовского, Потанина, Берга, но никогда не декларировал этого. Он был так же одержим в поиске, он был так же неутомим в походах, хотя фронтовые ранения и профессиональные болезни все серьезнее осложняли его бытие. Он воспитывал свой интеллект, постигал культуру за домашним столом, и любимым изречением у него было: «После хлеба образование является первой необходимостью человека». Он знал, конечно, что офицеры — участники знаменитых и незнаменитых экспедиций в дебри Центральной Азии или в Полесье — воспитывались на Плутархе, Шекспире, Гете. Правда, они частенько не догадывались о противоречиях, раздиравших уклад Российской империи. Но прозревая для себя в 14 декабря гибельный пример, они уходили — не убегали ли? — в дальние пределы и страны. Строки поэта как нельзя лучше передавали их немудрящую философию и жизненный идеал:

Домик с зелеными ставнями,
Снова согрей и прими.
Грежу забытыми, давними,
Близкими сердцу людьми.

Но каким исполином рядом с этими прекрасными, но камерными строками жил стих, громкоголосо читанный мне Питухиным тогда, в дальнем пятидесят втором году:

— Сволочи! — Я бросаю слово
в грязную одиночку,
И ненависть лавой в груди моей
клокочет.

стих о Греции под властью тирании. В Греции было тогда плохо. Казарменный режим душил мысль, поэзию, науку. И в запертой России неведомый лейтенант читал этот стих, ненавидя тиранию, как ненавидит ее афинянин. Но за Грецией вставала Россия, уставшая в безмолвии мертвых зон от Камчатки до Балтики. И доброе поморское слово «сволочи» в устах лейтенанта Питухина вдруг становилось острым.

Краем уха я слышал в разговорах топографов, что то ли уж век такой у нас: ядерная физика, химия, — географическая наука отошла на второй план, а топографическая служба, ранее приписанная непосредственно к Генеральному штабу, тоже переживает сложное время: или, сокрушались топографы, своими алмазами и нефтяными угодами геологи затмили их, первопроходцев?

Но слышал я имя Арсения Кузнецова. Кузнецов был именно военным топографом. Он погиб, изыскивая трассу на Совгавань; карту нашли у него на груди; по этой карте потом пошли строители. Арсений Кузнецов жил в холодную пору тридцатых годов, но с величайшим достоинством нес звание военного топографа. Посмертное признание его подвижнического труда вошло в учебники и в легенды. Вспоминая Кузнецова, Джага вздыхал:

— Вот уже прожил гору лет, а еще ничего не сделано для бессмертия.

Джага был честолюбив.

Леонтьев стучал длинными пальцами по портрету Пржевальского и говорил Игнатьеву:

— Тезка твой избрал тропу изгоя. Не о славе, не о бессмертии мечтал человек, а о свободе, потому как чем меньше человек имеет, тем он больше свободен.

Питухин в дымном и шумном застолье почти не принимал участия. Интеллигент, постигший тщету скорого исполнения желаний, он понимал, что застолье — это только приправа к серьезному, целомудренному опыту жизни. Я видел иногда улыбку, которой он сопровождал пыльные речи Джаги и резонерство Леонтьева. Но никогда он не попрекнул друзей своих обидным словом. Мне это было непонятно, и однажды я спросил его прямо, зачем он терпит беззаботность товарищей. Питухин рассмеялся:

— Эх, Годунов, не знаешь ты, какие это прекрасные люди. Они не получили классического образования, верно, но они добры, человечны, открыты. Они не отягощены большими заботами, но зато они искренни в участии. Притом, учти, они военная косточка, но бурбонами не стали, не поднаторели в доносах.

Вскоре, однако, я заметил, что бутылки из-под коньяка исчезли в нашей квартире. Питухин продолжал все так же вставать в пять утра и до ухода на службу в топоотряд успевал прочитать полкниги или исписать несколько страниц мелким бисерным почерком. А после службы снова садился к столу.

И настал черед Сихотэ-Алиньской партии. Шел 1956 год. Я заканчивал школу. В голове была сумятица от надвигающихся экзаменов по математике, будущая безвестность волновала. И Джага говорил не ко времени:

— Хочешь в экспедицию на Сихотэ рядовым?

Я, разумеется, хотел. По военному делу, по географии, по естествознанию у меня всегда было пять.

Я не задумывался тогда, какой это тяжкий, изнурительный труд — топография. Буколические дымки на привалах, лесные запахи, настоянные на дикой смородине и черемухе, прятали от меня вторую, непарадную суть этого труда.

В Сихотэ-Алиньской экспедиции Питухин вел дневник. Я заново перечитываю его страницы:

«Завтра утром мы встанем. Ты сядешь шить кимоно. А я в сапогах, заплатка к заплатке, пойду к Шаману. Это высокая и холодная гора. Мне надо положить ее на карту».

Строчки эти записаны последовательно, не столбиком, хотя они кажутся мне стихотворением. И еще одно, трудное признание:

«Тысячи красивых мужчин окружают тебя. А я живу в палатке, в длинной долине Сеенку. Ты лежишь в постели, слушаешь городские крики и хочешь закрыть окно. А я, упав на ветки стланика, осмысливаю бытие».

Владимир Клавдиевич Арсеньев как-то писал: «Красота жизни заключается в резких контрастах, как было бы приятно из удэгейской юрты попасть в богатый дом...»

После долгого питья из кружки дешевого кирпичного чая с привкусом дыма с каким удовольствием я пил хороший чай из стакана! С каким удовольствием я сходил в парикмахерскую, вымылся в бане и затем лег в чистую постель с мягкой подушкой».

Но пусть вас не обворажат эти счастливые, почти эпикурейские строчки, наваянные городом, его долгожданностью.

«Посох достал я с чердака, — написал в том апреле Питухин... — Я опробовал себя, трижды перепрыгнув через высокий костер на нашем дворе, далось мне это нелегко, молодость — признаемся в тридцать

лет — ушла. Потому и достал я посох. Вот и начало нового годовичного круга. Начну не спеша очень нужное в жизни движение».

«Движение» — почти формула, почти девиз.

Что мы знаем сегодня о Сихотэ-Алине? Что там живут остатки племени удэге, или туземцы, как называл их Арсеньев? Что там водятся тигры? Ну, а еще? И оказывается, все еще очень мало.

В долину Сеенку проводник-удэгеец отказался вести отряд:

— Моя туда не ходи. Там злой Шаман и сердитая вода дерется.

Отряд повел Питухин. Они продирались сквозь тайгу, шли через болота. Там, где тяжелая поклажа затягивала лошадей в топь, выручал Дзюциев, молодой двадцатилетний солдат, родом с Северного Кавказа. Дзюциев был человеком страшной силы, руки его легко ломали подкову. А длинная, сухая спина его несла груз в сто килограммов, если другие выбивались из сил. Дзюциева в отряде звали «батя», он был не по годам степенен и мудр...

Помимо экзотических красот и деловых записей, Сихотэ-Алинский дневник позволил мне заглянуть в быт военной топографической экспедиции, увидеть ее будни.

С фотографий на нас смотрят юные бородатые люди: Харт, Матвеев, Белозубов, Абылгазиев, Попов, Бутылский. Русские, татары, белорус, осетин в одном маленьком отряде.

Харта-Растегина, в отряде его звали Паганелем (он не расставался с большой поцарапанной лупой и мечтал после армии стать зоологом), «командировали» с Романом Бутылским на Шаман, самую высокую вершину северных отрогов Сихотэ-Алиня. Они должны были жить на вершине долгие недели, их наблюдательная станция измеряла высоту других, малых вершин и глубину урочищ и марей, потом эти измерения позволили составить карту рельефа.

Горное половодье, заполнив ущелья и тальвеги водой, отрезало их надолго от отряда, и они перемигивались ночными кострами с нижней станцией. А в ненастье и костры молчали.

Питухин с большой симпатией описывает этих юношей. Бутылский, к примеру, физически не мог существовать не работая.

Харт по совету командира решил загадку странного ночного воя в окрестностях Шамана (этот-то вой и пугал случайных охотников в этих местах). Отыскав «эпицентр» воя, в жуткое место попал любопытный Харт: огромные скальные обнажения создавали перепад на пути сквозняков; попадая сюда, ночные ветры с моря отзывались утробным гулом, и эхо кроило его по-своему, делая то пронзительным, то низким, как октава океанского лайнера.

Питухин сумел увидеть в Сихотэ-Алине не только экзотические картины. На месте бывших лагерей, где томились люди, в том числе и невинные, тысячи невинных, у оставленных, будто про запас, барак

он, сидя на пне, записывает исповедально: «Сподобился видеть тяжкие следы недавнего белого, молчал, солдатам сказал коротко: «думайте и вникайте», а сам все бродил по пепелищу. И это моя родина, мои годы. Моя биография».

Читая Питухина, я вспоминаю страницы путевых дневников Роборовского и Кропоткина, тоже русских офицеров, но иной, дореволюционной эпохи. Многие роднит их — энциклопедичность познаний, тон письма, демократичность отношений в самом отряде; и мне совершенно безразлично, что я читаю всего лишь рукописи. Как знать, может быть, позднее ими заинтересуются издательства — хотя бы специализированные: географическое или военное. Ведь историй топографической службы, начиная с первого промера ширины Керченского пролива (между городами Тамань — Керчь) и до наших дней, мне, непосвященному, кажется, никто всерьез не занимался.

В нашей комнате, помимо иностранцев Ливингстона и Брема, Джеймса Кука и Нансена, стояли толстые тома отчетов и путевых дневников Лисянского и Крузенштерна, Беллинсгаузена и Потанина, Козлова и Витковского, Обручева и Певцова — представителей большей частью армии и флота. Поэтому не случайной оказалась работа Питухина «Страницы истории военно-топографической службы». Думаю, они могут претендовать на право быть опубликованными.

Одно восхищает и удивляет меня, когда я заново просматриваю содержимое своего письменного стола: кто он, топограф, — натуралист, поэт, историк?

Я знаю, что он ходил по земле без компаса. По звездам узнавал время — с ошибкой в три-пять минут.

Он писал новеллы. Читая их, я вспоминал рассказы Сетона-Томпсона.

Он писал тайные движения женшенья. В рукописях есть отдельная работа, она так и называется «Женьшень».

А вот строчки из дневника под названием «Совесть».

«Дайте мне право думать, что «совесть» — категория неисследованная. Опускаясь в пропасти и поднимаясь на вершины, теряя друзей и вновь обретая их, я часто останавливался в неведении и раздумье: совесть — какой хрупкий барометр. Малейшее движение воздуха — и уже колебания, и беспросветность, и безнадежность. Но вдруг столько солнца и тепла. На весь мир.

Как трудно становятся плохими люди, совестливые по своей натуре, с какими мучениями, с какими самоотречениями!

Но с каким возвышенным челом служат они потом своим идолам. Изредка, опускаясь в давние тайники, они плачут о невозвратимом и — ожесточаются».

Он отлично стрелял в цель.

Он любил слепые дожди. Он считал, что слепые дожди помогают человеку не стареть. Об этом мне потом рассказывали топографы.

Выше я написал, что многое роднит топографа с предшественниками по армейской службе.

Но я хорошо вижу в нем и новое. Он был начисто лишен барственности, попросту он уже не знал ее. В лесу он не мог идти налегке, поровну с солдатами делил поклажу, и даже Дзюцев не мог у него отобрать рюкзаки. Он и в дневнике признавался: «Делю тоску разлук тяжелых, — мне лучшей доли не найти, — по городам, станицам, селам с друзьями в избранном пути. Делюсь последней папиросой, единственным глотком воды...»

Из Сихотэ-Алиньской экспедиции я получил от него целое послание, уже на Иркутский университет: «Видишь ли, Годунов, история российского офицерства богата высокими и иными примерами. Именами иллюстрировать не буду, хотя можно было бы поступить проще, взять героев литературных произведений — от Швабрина, Грушницкого, Алексея Вронского до Ромашова и Сани Григорьева, они дадут обширную картину нравственных поисков или бездуховности. Ты должен заметить, лучшие из них любили не мундир, полагали себя гражданами на военной службе. Но в час военной беды все они становились в ряды народного ополчения, чтобы застоять Отечество грудью или погибнуть. И в этом мы им наследуем. Примеры? Изволь. Лазо, Карбышев, Арсений Кузнецов и далее.

Ты можешь, впрочем, кое в чем упрекнуть моих сослуживцев, но прежде ты должен понять эпоху, а потом и Джагу, и Леонтьева, и Игнатьева. Нам досталось суровое время. Лишь в военные годы мы знали, как мы нужны стране и страна нуждается в нас. А потом, потом, Годунов, жить было тяжело — но мы избрали солдатскую лямку и не отреклись от нее. Я надеюсь, твоему поколению будет легче. Хотя все непредсказуемо и очень шатко»...

Однако я хочу цитировать дальше. Слишком долго это письмо дождалось своего часа.

«Я рядовой человек, последний из могикан-географов, которому суждено нанести на карту сто ручьев и сто болот — так мало рядом с этими великанами, наследником коих я считаю себя.

Итак, смиряюсь — маленький человек. Но, может быть, с большим человеческим достоинством».

К тетрадям и пленкам была приложена записка, датированная 16 мая 1966 года:

«Мои бумаги побереги. Так, на всякий случай... В сорок лет гуляю по госпиталям. Ревматизм, полиневрит и прочая чертовщина. Отпылали мои весенние костры. А твои отпылали?»

В. Питухин
армейский капитан,
действительный член
Географического общества СССР».

ЭРЬКА ЖУРО, ИЛИ «СЛУЧАЙ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ»

На «Камчатке» Лина Висковская говорит о мужчинах:

— Самый последний, девочки, случай вчера... Девочки, он третий день меня преследует!

Цепь катастроф сопровождает поклонников Лины. Девочки завидуют ее легкомыслию, они не догадываются о печали, снедающей подругу. Лину постигла неудача с Эрькой Журо. Уж так устроен мир — он будет весь у твоих высоких ног, но одноклассник по имени Эрик Журо не удостаивает тебя вниманием — и жизнь рушится, летит в тартарары. Висковская вот так иногда — закрыв ладошками уши — слушает печальную музыку внутри себя и хочет навзрыд заплакать. Она удивляется, как без любви — в полуобмане — живут взрослые, и жалеет взрослых.

Недавно Лину пересадили к Эрьке Журо, на четвертую парту. Она рассчитывала на это, но озноб потряс ее сильное тело — что-то холодное прочитывалось в Эрькиных раскосых глазах.

Вот и сейчас, интригуя девчонок фантастическим рассказом, Лина видела упрямый подбородок Эрьки, узкие его плечи и ускользающий взгляд, и мысль о грядущем одиночестве вдруг саданула ее. Побледнев, она молча прошла к своей парте и села.

Когда она очнулась, у доски уже стояла Валентина. Грациозно Валентина вывела на доске мелом:

«СЛУЧАЙ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ»

Верзила Галактионов шумно вздохнул. На перемене, до одури накурившись, Галактионов сладострастно выкручивает руки малышам, дело привычное; а тут — случай из моей жизни!.. У Галактионова никогда никаких случаев и в помине не было.

Валентина вполоборота повернулась к классу и рассмеялась: мятущееся лицо Галактионова рассмешило ее. А Лине захотелось нижайше просить Валентину отменить, запретить, закрыть опасную тему. Да ведь не отменит.

Через три часа, порвав промокашку, Висковская вытерла вспотевшие пальцы и потянулась к Эрькиному сочинению, но ее остановил его взгляд.

— Ты никому не скажешь, Линка? Побожись!

— Что ты! Что ты! Похоронила. — Она прижала большую руку к тому месту, где под черным фартуком ровно и гулко, устало билось ее сердце.

«Случай из моей жизни», — написал Эрька на первой странице и начал сразу, без плана. Лина длинным взрослым ногтем поставила галочку и — застывая, хотя солнце слепило комнату — стала читать.

Вы просите, Валентина Юрьевна, описать случай из жизни. Но такие штуки не делаются с маху. Поэтому на следующий год, если Вы решите дать такое же сочинение десятиклассникам, обязательно предупредите их пораньше. Что же касается меня, то я решился.

Это случилось давным-давно, позапрошлым летом. В тот год к отцу снизошла доброта, он постучался рано утром в мою комнату, я проснулся. Он пристально посмотрел на меня и изрек: «Счастье в чем? Счастье в труде!» — и процитировал: — Вырастет из сына свин, если сын свинок...»

Так меня наконец-то устроили юнгой на «Чубаря». Буксирный пароходик «Чубарь», напружинившись, как гончая, таскал вверх по Умаре плоты, старые баржи, груженные соляжкой и бензином, перевозил продовольствие. Работы хватало, приходилось в дождь, в непогоду бегать на пристанях за пивом для капитана и Иннокентьевича, боцмана. Я пыхтел от злости, но скоро полюбил нехитрые обязанности. К ночи с великим удовольствием забирался в каюту, открывал иллюминатор и, слушая всхлипы парового двигателя, быстро засыпал.

На «Чубаре» мне снились цветные сны. Снился дом наш под черепичной крышей, черный дым из красной трубы (мы топили углем), рыжий заплот; снилась — в ситцевом платье — мама...

Признаюсь, у нас была нелепая семья — самая нелепая во всем Сваринске. Отец, начальник горкомхоза, всегда по-государственному озабоченный, читающий на память Маяковского: «И жизнь хороша, и жить хорошо. А в нашей буче, боевой, кипучей...» Ну, дальше знаете. Вы же литератор.

Мама, кроткая и скучная, ласкала меня и моих сестер, штопала и самоварничала, пела песни. Песни раздражали отца, да и мне не нравились — было в них уездное занудство.

Сегодняшний день воскресенье,
Но милый ко мне не пришел.
Наверно, он любит другую,
Наверно, другую нашел.

Отец закрывал дверь в свой кабинет, как только слышал эту песню. А мать пела и дальше, сейчас, сейчас припомню. А, вот эти слова, наводившие тоску, бередившие во мне странные струны.

Не шейте мне белое платье,
Оно мне совсем не к лицу.
А шейте мне черное платье,
Я с милым не выйду к венцу.

Отец слушает, притаясь, терпит, потом выпрыгнет на кухню и, вскинув руку, прочтет:

Когда ж от смерти не спасет таблетка,
То тем свободней время поспешит
В ту даль, куда вторая пятилетка
Протягивает тезисы души...

Мать замолкала, но, когда отец уезжал в командировку, снова пела странные песни. Однажды, дождавшись отца (он ездил в Айканов), мать выпрямилась, словно помолодела, и сказала прямо при мне:

— Не верю я вам, Юлий Иванович. — На «вы» к мужу, отцу моему.

Отец покраснел, будто его застали врасплох за постыдным делом, и, запинаясь, ответил:

— С мешанкой жить не могу, понимаете ли, и не буду. Не для того мы строим наш светлый храм, чтобы такие, как вы, — язвительно, тоже на «вы», к жене, матери моей, — такие, как вы, правили в нем.

Мать раскрепощенно, раскинув руки, словно птица, засмеялась:

— А чтобы правили в нем твои любовницы! Ах, какой это будет светлый храм, глаза слепит.

И они расстались. У взрослых, оказывается, все просто. Мы переживаем, пишем исповеди (а за окном что делается — настоящая пурга, бедный Сваринск совсем погрузился в зимний сон. Впрочем, есть обитаемый остров — школа), а взрослые расходятся внезапно и навсегда.

Мама и сестры уехали к родне в Урийск, я провожал их теплоходом. Нам дали трехместную каюту, но все десять часов мы провели на верхней палубе, сестренки беспричинно хохотали, возился с ними и я. Мимо проплывали берега в дубняке, пахло свежей рыбой и дымом от проплывавших мимо деревень.

Прощаясь, мама обняла меня:

— Только об одном прошу тебя, Эрик. Живи как бог на душу положит. Не придумывай хрустальные дворцы, в хрустальных дворцах тяжело дышать.

Мы остались вдвоем с отцом.

Минуло два года. Я мечтал пристать в Урийске к берегу и прямо в кирзовых сапогах, в тельняшке, прийти к маме и принести ей первую зарплату. Но за весь сезон «Чубарь» ни разу не спустился в низовья Умары, а ходил на север, к порогам, и возвращался в Сваринск. Пропитавшись солнцем и запахом соляра, я готовился — взамен свидания с мамой — к встрече с отцом. Я продолжал любить отца.

Я не лгу. Я пишу, а про себя думаю: наш физик Дмитрий Куприянович поймет меня лучше, чем Вы. Мужчинам договориться легче друг с другом, и мы с отцом потихоньку ладим. Уроки мои он не проверяет, в душу не лезет, а то, что вчера блажь на него нашла — в учительскую забрел, — так, блажь, говорю. Он даже и не слушал, что физичка плела

ему про меня. Я думаю, его заинтересовала сама физичка, одинокая женщина с точеным станом... Ох, я снова побежал куда-то не туда, простите, простите.

В то августовское утро мы подходили к Сваринску, к нашей родной базе. Свободный от вахты, я стоял у правого борта и в бинокль рассматривал город и пляж на берегу реки.

Рассматривать людей в бинокль на пляже неприлично, и иногда я не смотрел туда, но вскоре снова поднимал бинокль. Мне хотелось посмотреть на девушку под розовым зонтом. Что-то поразило меня в ее облике, когда «Чубарь», споткнувшись, сбросил ход, и я через окуляры бинокля, почти в упор, увидел ее глаза, обращенные ко мне.

Из кают-компания выбрался Иннокентьевич и прохрипел:

— Что ты смотришь на этих женщин? Ишь, нашли время на траве валяться. Страда на носу...

— Они отдыхают, — возразил я Иннокентьевичу. — Недельку работали, а сегодня отдыхают. У нас каждый имеет право на отдых.

— Все одно, нечего глаза на них пялить. Голых женщин (вообще-то он сказал другое слово) не видел, что ли?

Я разозлился.

— Да, не видел, — отвечал я боцману.

Тут вышел из рубки капитан, Иннокентьевич пробасил:

— Щенок положил глаза на берег, капитан... — и ко мне: — Погоди, насмотришься ишо — устанешь. Поперек горла они ишо станут тебе, вот здесь, — Иннокентьевич ударил себя по толстой шее, — примостятся, как на насесте...

Капитан усмехнулся в аккуратно побритые усыки:

— Не слушай старика, — сказал капитан. — Слушай меня. А я не совру тебе: женщины на пляжах Умары — это букет цветов из Ниццы. Вдыхай, рви охапками, осязай!

Капитан тронул боцмана за плечо:

— За мной, Иннокентьевич! Что-то руки стали зябнуть. — И они скрылись в чреве буксира.

Прямо с борта я перемахнул на пирс. Я торопился. Я боялся, что не найду девушку под розовым зонтом. Но я отыскал ее, правда, зонт оказался зеленый, но, может быть, я дальтоник.

Шагах в десяти от нее я разделся и стал загорать, хотя загорать было некуда: за лето я прокоптился как сто чертей.

Девушка была одна, она читала книжку. Наверное, стихи, подумал я и угадал. Она читала Маяковского. Представьте: плюс сорок по Цельсию, разомлевшая толпа у реки и — Маяковский. Я даже фыркнул. Девушка подняла взгляд, и я тотчас понял, чем поразило меня лицо ее... Она сильно напоминала мою маму... Помню, я лежу на раскладушке (у нас не хватало постелей), а мама наклоняется ко мне и что-то шепчет.

И у нее такие же слегка запавшие щеки, длинные руки, тонкая талия и ноги маленькие. Кстати, у меня тоже нога-маломерка, ногами я удался в мать... Но главное, взгляд — отрешенный, осенний, мамин взгляд.

Над водой кувыркались чайки, высматривая добычу. Я пошел в кусты, сломил два прута, сделал из рубашки тень. Когда солнце переходило на другое место, я подвигался, пряча голову от немилосердных лучей.

А сам все смотрел на нее.

Стихи она читала, чуть шевеля губами. Будто спорила с Маяковским. Толпа не действовала на нее, просто это было два мира. Один мир — она, и другой мир — мужчины и женщины вокруг.

Раза два она внимательно посмотрела в мою сторону и решительно захлопнула книгу. Потом сказала негромко:

— Зачем вы так смотрите на меня? Вон там, — она показала в сторону, — там девушки резвятся...

— Просто так, — негромко ответил и я. — Хочу, вот и смотрю. Могу и не смотреть. Но зачем, если я хочу?

— Чудак, — рассеянно сказала она. И вдруг предложила: — Есть хотите? У меня в сумке бутерброды, министерские, с красной икрой. — Она открыла большую сиреневую сумку.

В этот момент я увидел, как на палубе «Чубаря» два чудовища, полуприседа, пытаются плясать. Капитан плясал твист, а боцман — барыню. Пляж заплодировал им, но Иннокентьевич и капитан враз легли на палубу и больше не поднялись.

— Я совсем не хочу есть. И не поэтому я смотрю на вас, — я сказал глупость, как семиклассник.

— Право же, чудак, — повторила она. — Вас наверняка звать Костей.

— Это почему же? — встрепенулся я.

— Да так, все Кости немного чудачки.

Она протянула бутерброд. Я подошел и взял его. Я сказал:

— Спасибо. По правде, я малость проголодался. — Позже я догадался, что это тоже была глупость.

— Ну вот, разве не чудак... Да вы бы шли сюда, а то ваша юнг-штормовка, — она неизбежно улыбнулась, — выгорит под палящими лучами солнца. А зонт большой, нам места хватит.

Я счел себя обязанным принять ее предложение. Так мы оказались лицом к лицу.

Я молча рассматривал ее. В матовом овале щек и в устьях глаз я увидел первую усталость, побарываемую бедовым характером.

Прошла, наверное, вечность. На Спасской башне пробило восемь часов, и у гробницы Ленина сменилась стража, я слышал ее поступь по сырой брусчатке. Так я представил. Я очень люблю Московский Кремль и Красную площадь.

Она тоже смотрела на меня.

— Ты странный, — сказала она. — Совсем мальчик, но смотришь, как мудрец... Я даже теряюсь... Нет, тебя не Костей зовут, прости мою неловкую шутку.

— Вы похожи на мою маму...

— А у тебя нет мамы, но ты помнишь ее, да?

— У меня есть мама, но живу я с отцом... Впрочем, вы не поймете... Да и не надо... Не стройте, пожалуйста, хрустальные дворцы, будет душно...

— Хорошо, — ответила она, — хрустальные дворцы строить не буду. Я вдруг погладил ее лицо.

— Милый, — сказала она, взглядевшись в меня, — давай уплывем от них? Ты должен плавать, как лорд Байрон... А они — они совсем не умеют плавать. А и зачем им уметь. Посмотри, они пьют спирт, разбавляя его из реки...

Я читал о том, что Байрон хорошо плавал, в «Знание — сила», и помнил его стихи, тоненький сборник стоит у отца в кабинете. Увы, отец не любит Байрона, он считает его пессимистом.

Она тряхнула косичками, она заплела их при мне и стала похожа на школьницу.

— Мы поплывем через Умару, и если вы раньше меня выйдете на тот берег Босфора, значит, вы Байрон. Передайте от меня привет повстанцам... Впрочем, я тоже поплыву... Но если я выйду первой, я Байрон? Нет, я любимая Байрона, идет?

Исподтишка я посмотрел на нее еще разок — она выглядела хрупкой и нежной. На секунду мне стало боязно за нее.

Шлепая босыми ногами по теплой воде, мы прошли мимо нашего буксира. Я услышал храп Иннокентьевича и фальцет капитана.

Мы поднялись по течению метров на сто, этого достаточно, чтобы нас не снесло ниже песчаной косы, к которой надо было выплыть.

Мы забрели в воду. Я плыл брассом, не окуная лицо. Мы держались друг от друга близко. Я видел точки веснушек, они кружили вокруг ее лица. «Она некрасивая, — подумал я, — зато храбрая и нежная».

...Ну, некстати звонок. Остается сорок минут, а я еще не сказал главного. Плюнем на перемену. Слушайте дальше, если Ваше терпение не лопнуло пока...

Я чуть загреб и поднялся выше нее. Мы плыли и смотрели друг на друга.

— У тебя лицо искреннего человека. — Она улыбнулась сестринской улыбкой.

Внезапно я ощутил немоту и испытал необъяснимую тревогу. Оказывается, из-за поворота ударил ветер и взбил короткую волну, вода ворвалась мне в горло. Я ползадохнулся, но все мое цыплячье существо было переполнено ею. И, задыхаясь, я немо смотрел в ее глаза, в них закипал страх, но я не видел этого, я уже ничего не видел. Когда я опомнился, было поздно — волна толкала меня в затылок, затылок

был чужим. Оранжевый ком вспыхнул в мозгу и стал разрастаться, мир потерял очертания, обесцветился. Я сделал невероятное усилие, взмахнул руками, но скоро упал лицом в воду.

Потом я лежал на мокром берегу и боялся открыть глаза. Вдруг я услышал, как на песке сипнет волна, и почувствовал боль в правой руке. Я открыл глаза. На руке была черная повязка, из-под которой сочилась кровь. Было бездонным небо. Я оглянулся по сторонам. Она лежала рядом и улыbnулась мне. Полупрозрачный купальник выдавал ее крепкую грудь.

Оказывается, нас сильно снесло течением, и мы попали в улово, где раньше всегда трелевались плоты. У берега было много кусков металлического каната, о него мы порвали до крови руки и ноги.

— Скажи мне что-нибудь, Эрик,—попросила она,—пустяк какой-нибудь. Я чуть не утопила тебя, мальчик.

Она спасла меня, но ей было этого мало. И я сказал:

— Спасибо тебе за то, что ты чуть не утопила меня. Я люблю тебя.

— Ты искренний,—сказала она, и я вспомнил, что когда-то слышал эти слова.— Ты искренний, тебе тяжело будет жить. Ты совсем не умеешь врать, а надо уметь врать. Так устроена наша прекрасная страна — на вранье.

Она поцеловала меня в плечо и в рану на руке.

Обратно мы возвращались паромом. Женщины с блестящими серпами литовко презрительно глядели в нашу сторону. Они могли думать всякое, это злило меня. Но вскоре стало хорошо, потому что Вы... Вы заговорили с ними и рассказали, как мы тонули. Женщины сразу подобрали и стали нас кормить полевым чесноком и черствым хлебом. Я никогда не ел более вкусного хлеба.

Кажется, я заглядывал ей в глаза, как собачонка.

— Бывает, Эрька,—она по-своему поняла мои мысли и шептала.— Я тоже тонула, но меня спасли рыбаки, чуть тепленькую вынули. А вообще-то здесь тонуть лучше, чем на экзаменах. Когда стипендия на волоске, а ты забыл из Горького цитату... Боже, что у нас за институт, сплошные цитаты. Я еще не начала жить, а меня запичкали цитатами. И эти старики с орденскими планками, говорящие по-писаному, но заглядывающие тебе за лифчик.

Она кончала педагогический. Филологический факультет.

Мы сошли на берег, он был пуст, на песке одиноко стоял зонт.

— Ну вот,—сказала она.— Вот мы и познакомились: ученик и вчерашняя ученица... Мы победили стихию, мы утвердили свое я... — Голос ее стал насмешливым.

Рана моя подсохла. Отмочив в воде повязку, я завязал руку майкой, накинул широкую матросскую куртку, чтобы согреться. Бил ветер.

Она надела открытое платье, очень открытое, но именно такое она и должна была носить, чтобы походить на себя: тоже всю открытую

и прозрачную, словно кремни на перекатах Умары. Я сбегал на буксир и отпросился домой.

Шли мы долго. Я нес зонт и был горд оттого, что все смотрят на меня, как на товарища этой молодой женщины с голубой книжкой в руке.

На миг мне стало смешно, что Маяковский — в голубом переплете. Боролся с бюрократами, а в голубом переплете. Я сказал ей об этом. Она ласково посмотрела на меня:

— А у тебя тонкий вкус.

Тогда я честно сказал, что Маяковского любит мой отец, а я его не перевариваю.

— И зря, зря, — пылко отвечала она. — Он такой же искренний, как вот... ты. Не обижайся... Он такой искренний, что жить далее тридцатого года он не мог, не захотел... Мне страшно, что будет с вами.

— А с тобой? — спросил я.

— Со мной уже ничего не будет, — печально сказала она. — Я обучилась лгать. Все худшее... все лучшее позади... А за вас страшно... Ты ведь не хочешь лгать?

— Ну, вообще-то по мелочам я вру.

— С отцом? С любимой девочкой? С учителями?

— У меня нет любимой девочки, — поспешно сказал я.

— Я ей не помеха, Эрик. Но в главном ты не лжешь, я уверена.

— А ты?

— Меня заставили отречься от Некрасова.

— «Кому на Руси жить хорошо»?!

— Кому хорошо, погибельно стоялось под Сталинградом.

— Под Сталинградом?.. Я ничего не понимаю...

— Да где же тебе понять, если ты знаешь одного Некрасова и одного Толстого.

— Я знаю двух Толстых.

— А их было трое. Я филолог, Эрик, не сердись, я знаю. Со временем будешь знать и ты. Если не побоишься. Но надо ли вам знать то, что под запретом...

Я молчал, разгадывая сказанное.

На развилке дорог у Калининской она неожиданно сказала твердым голосом:

— Эрик, а мне сюда.

— И мне сюда, — ответил я, хотя мне было совсем не сюда. Снова мы шли медленно и долго, долго. Уже диск солнца падал за рощу, тишина — как в деревне — была звенящей, словно стук молока о подойник. В Сваринске по вечерам тихо.

Около бревенчатого здания горисполкома, у обочины, стояла легковая машина, в открытую дверцу я увидел человека, который меланхолично листал пестрый журнал. Мой взгляд, видимо, привлек его внима-

ние, он поднял голову и, быстрым интеллигентным движением поправив очки, вскрикнул:

— Валя!

Вы вздрогнули, горестно посмотрели на меня и как-то неестественно заулыбались.

— Костя, ты как очутился здесь? — спросили Вы, глядя мне в глаза.

— С предком, — отвечал этот Костя, — не сидится старику дома... А вообще-то поздравь, в первом законном отпуске. А тебя провозжат отроки и носят твой зонт?.. Пardon, молодой человек, я шучу.

Он шутил, но шутил он надменно и изысканно.

Я отошел в сторону и постоял там немного, поджидая Вас, но Вы сидели с ним в креслах автомобиля и говорили, говорили... Я слышал, Вы сказали: «Все, Костя, течет, но ничто не забывается, не тускнеет, не отцветает, если хочешь. Тот орешник в долине...» Я пошел прочь. Но не выдержал и оглянулся. Они стояли у машины, и она махнула мне рукой. Я вернулся.

— Эрик, — сказали Вы, — вы забыли оставить зонт. И вас, верно, потерял отец, а меня Костя подбросит на машине. Так ведь, Костя?

— Да, но предок...

— Ну, Костя, в кои-то веки. Милый Костя...

Больше я не оглядывался, но она догнала меня.

— Не гневайся, — вымолвила она, но я шел, опустив голову, и она уже вслед крикнула:

— Эрик, мы же договорились не строить хрустальные дворцы, вспомни, вспомни!

Я не оглядывался. Когда я приплелся домой и лег в постель, я подумал, что лучше бы она не спасала меня, что лучше бы я утонул...

А через год Вы, Валентина Юрьевна, пришли в нашу школу. И сегодня просите писать это сочинение. Разве вы не знаете, что я могу написать только об этом? А тот орешник в долине...

Впрочем, сочинение пора кончать. Можете за идейность поставить двойку. Мне все равно. Я не Маяковский. Посмертно мои сочинения не будут читать на пляжах и изучать в институтах.

На перемене вокруг царил гам. Галактионов подбивал устроить забастовку и не идти на воскресник.

Лина обратила постаревшее лицо к Эрьке и поняла, что это не она, воображая в капроновых чулочках, красавица, а он, Эрька Журо, азиат в серой фланелевой рубашке, с комсомольским значком высоко, почти под шеей, — красивый, красивый, красивый.

Через день, пусто слоняясь по железнодорожному парку, она неожиданно-негаданно столкнулась с Эрькой и Валентиной Юрьевной в длинной и узкой от зимнего снегаallee.

— Здравствуйте, Линочка! — Валентина Юрьевна придержала Висковскую за рукав. — Пойдемте с нами, ну, что вам стоит. И вам будет

лучше... А то он стесняется. Будто гулять среди берез учителю и ученику стыдно. Стыдно ли? А мне, Эрик, пора в школу, консультация у вечерников... И вы меня, ребята, не провожайте... Сегодня рождественский вид в саду, правда? Опадает иней, и музыка слышна, но музыка поминальная.

Лина увидела, как дрогнули у Эрки губы.

Лина зачерпнула горсть снега и сглотнула его. Хотелось пить, но снег горчил. Тогда Лина повернулась и побежала, сильно подбрасывая ноги и делая большие шаги. Точь-в-точь как учили на уроке физкультуры брать старт.

И Эрка остался один.

1976

СОДЕРЖАНИЕ

Остров Дятлинка	3
Гибель Титаника	11
Плач перепелки	18
Весенние костры	28
Эрька Журо, или «Случай из моей жизни»	38

Борис Иванович ЧЕРНЫХ

ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ

Рассказы

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 1.09.88. Подписано к печати 02.12.88. А 10432. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,20. Тираж 150 000 экз. Заказ № 3131.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
на издательства ЦК КПСС «Правда», 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● В жизни нередко бывает, когда неосторожность, невнимательность приводят к различным травмам на производстве, улице и дома. Поэтому органы госстраха советуют заключить договор страхования от несчастных случаев, который гарантирует денежную выплату при постоянной (полной или частичной) утрате страхователем общей трудоспособности в результате травмы, случайного острого отравления и некоторых других причин, предусмотренных договором страхования.

● Договоры страхования от несчастных случаев заключаются с лицами в возрасте от 16 до 74 лет на срок от 1 года до 5 лет, но не далее достижения страхователем 75-летнего возраста на момент окончания договора.

● Размер страхового взноса зависит от профессии страхователя и составляет от 25 коп. до 1 руб. 20 коп. с каждых 100 рублей страховой суммы в год.

● Узнать подробную информацию об условиях страхования и заключить договор можно в инспекции госстраха или у страхового агента, обслуживающего ваше предприятие, учреждение или организацию. Страхового агента можно пригласить на дом.

**Главное управление государственного
страхования СССР**